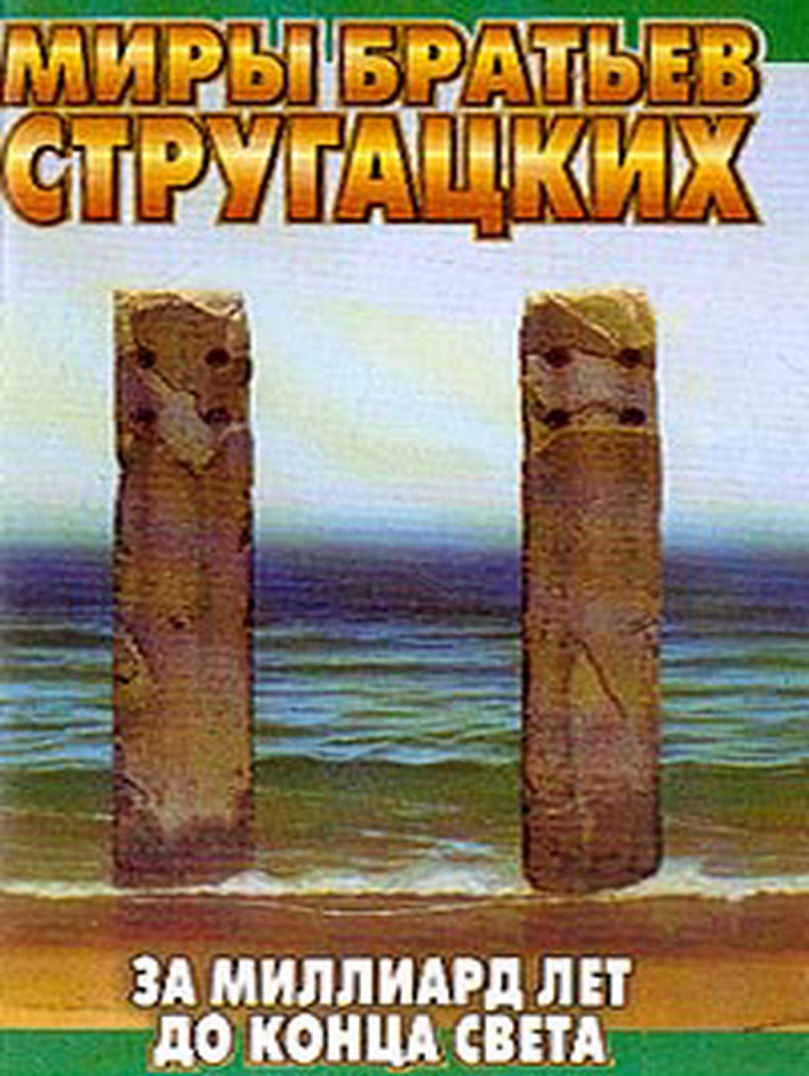
МИРЫ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ



ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА

За миллиард лет до конца света

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

Аннотация
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. За миллиард лет до конца света. (рукопись, найденная при странных обстоятельствах)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Аннотация

Представьте себе, что в вашу размеренную жизнь вторгается вдруг страшная, непреодолимая внешняя сила и начинает диктовать свои условия. А чтобы избавиться от неё, нужно всего ничего — изменить самому себе, например, отказаться от любимой работы… Разные герои по-разному решают эту проблему.

Книга, положенная в основу гениального фильма А. Сокурова «Дни затмения», в котором от повести практически остались только имена главных героев, а действие происходит в Средней Азии.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
За миллиард лет до конца света (рукопись, найденная при странных обстоятельствах)

1

1. «…белый июльский зной, небывалый за последние два столетия, затопил город. Ходили марева над раскаленными крышами, все окна в городе были распахнуты настежь, в жидкой тени изнемогающих деревьев потели и плавились старухи на скамеечках у подъездов.

Солнце перевалило через меридиан и впилось в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, в полированные дверцы шкафа, и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась послеполуденная маята — недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце, мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, просверливает всю квартиру навылет.

Малянов закрыл окно — обе рамы — и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь.

Было начало третьего.

На кухонном столике среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохши-

ми остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла. Мойка была переполнена немытой посудой. Не мыто было давно.

Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары Калям, глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул и снова закрыл рот. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плиту, к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей.

— Жрать хочешь… — сказал Малянов с неудовольствием.

Калям сейчас же откликнулся в том смысле, что да, неплохо бы наконец.

— Утром же тебе давали, — сказал Малянов, опускаясь на корточки перед холодильником. — Или нет, не давали… Это я тебе вчера утром давал…

Он вытащил Калямову кастрюлю и заглянул в нее — были там какие-то волокна, немного желе и прилипший к стенке рыбий плавник. А в холодильнике, можно сказать, и того не было. Стояла пустая коробочка из-под плавленого сыра „Янтарь“, страшненькая бутылка с остатками кефира и винная бутылка с холодным чаем для питья. В отделении для овощей среди луковой

шелухи доживал свой век сморщенный полукочанчик капусты с кулак величиной да угасала в пренебрежении одинокая проросшая картофелина. Малянов заглянул в морозильник — там в сугробах инея устроился на зимовку крошечный кусочек сала на блюдце. И все.

Калям мурлыкал и терся усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся.

— Ничего, ничего, — сказал он Каляму. — Все равно сейчас везде обеденный перерыв.

Можно было бы, конечно, пойти на Московский, но там всегда очереди, и тащиться туда далеко по жаре… Это надо же — какой паршивый интеграл оказался! Ну, ладно… Пусть это будет константа… от омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть. Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского. Ни с того ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. Конформное изображение попробовать, подумал он.

Опять задребезжал телефон, и тут выяснилось, что Малянов, оказывается, уже снова был в комнате. Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки.

— Да!

— Витя? — спросил энергичный женский голос.

— Какой вам телефон нужен?

— Это „Интурист“?

— Нет, это квартира…

Малянов бросил трубку и некоторое время полежал неподвижно, ощущая, как голый бок, прижатый к ворсу, неприятно подмокает потом. Желтая штора светилась, и комната была наполнена тяжелым желтым светом. Воздух был как кисель. В Бобкину комнату надо перебираться, вот что. Баня ведь. Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. Одного Смирнова Владимира Ивановича шесть томов… И вон еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать — перебираться. Постой, у меня же какое-то просветление было… Ч-черт… С этим твоим „Интуристом“, дура безрукая… Значит, я был на кухне, затем меня принесло сюда… А! Конформные отображения! Дурацкая идея. Вообще-то надо посмотреть…

Он кряхтя поднялся с тахты, и телефон сейчас же зазвонил снова.

— Идиот, — сказал он аппарату и взял трубку. — Да!

— Это база? Кто говорит? Это база?

Малянов положил трубку и набрал номер ремонтной.

— Ремонтная? Я говорю с телефона девяносто три девять восемь ноль семь… Слушайте, я вам вчера уже звонил один раз. Невозможно же работать, все время попадают сюда…

— Какой у вас номер? — прервал его злобный женский голос.

— Девяносто три девять восемь ноль семь. Мне все время звонят то в „Интурист“, то в гараж, то…

— Положите трубку. Проверим.

— Пожалуйста… — просительно сказал Малянов уже в короткие гудки.

Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. Та-ак… Где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный… Где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль! Ну, хорошо. Оставим его в тылу. Не люблю я ничего оставлять в тылу, неприятно это, как дырявый зуб…

Он принялся перебирать листки вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце. Все-таки здорово, ей богу… Ай да Малянов! Ай да молодец! Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем это, брат, настоящее. Это,

брат, тебе не „фигура цапф большого пассажного инструмента“, этого, брат, до тебя никто не делал! Тьфу-тьфу, только бы не сглазить… Интеграл этот… Да пусть он треснет, интеграл этот — дальше поехали, дальше!

Раздался звонок. В дверь. Калям спрыгнул с тахты и, задрав хвост, поскакал в прихожую. Малянов аккуратно положил ручку.

— С цепи сорвались, честное слово, — произнес он.

В прихожей Калям описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами.

— Ка-ал-лям! — сказал Малянов сдавленно-угрожающим голосом. — Да, Калям, пошел вон!

Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собой большую картонную коробку. Бурча нечленораздельное, он двинулся прямо на Малянова.

— Вы… э… — промямлил Малянов, отступая.

Плюгавый был уже в прихожей — глянул направо в комнату и решительно повернул налево в кухню, оставляя за собой на линолеуме белые пыльные следы.

— Позвольте… э… — бормотал Малянов, насту-

пая ему на пятки.

Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций.

— Вы из ЖЭКа, что ли? — Малянову почему-то пришло в голову, что это водопроводчик наконец явился — чинить кран в ванной.

— Из гастронома, — сипло сказал мужчина и протянул две квитанции, сколотые булавкой. — Распишитесь вот здесь…

— А что это? — спросил Малянов и тут же увидел, что это бланки стола заказов. Коньяк — две бутылки, водка… — Подождите, — сказал он. — По-моему, мы ничего…

Он увидел сумму. Он ужаснулся. Таких денег в квартире не было. Да и вообще, с какой стати? Охваченное паникой воображение мигом выстроило перед ним удручающую последовательность всевозможных сложностей, вроде необходимости оправдываться, отпираться, возмущаться, призывать к здравому смыслу… звонить, наверное, куда-нибудь придется, может быть, даже ехать… Но тут на углу квитанции он обнаружил фиолетовый штамп „Оплачено“ и сразу же — имя заказчика: Малянова И.Е. Ирка!.. Ни черта понять невозможно.

— Вот тут расписывайтесь, вот тут… — бурчал плюгавый, тыча траурным ногтем. — Вот где птичка стоит…

Малянов принял от него огрызок карандаша и расписался.

— Спасибо… — сказал он, возвращая карандаш. — Большое спасибо… — Обалдело повторял он, протискиваясь рядом с плюгавым через узкую прихожую. Дать ему надо бы что-нибудь, да мелочи нет… — Огромное вам спасибо, до свидания!.. — крикнул он в спину кургузому пиджачку, ожесточенно отпихивая ногой Каляма, который рвался полизать цементный пол на лестничной площадке.

Потом Малянов закрыл дверь и некоторое время постоял в сумраке.

— Странно… — сказал он вслух и вернулся на кухню.

Калям уже отирался возле коробки. Малянов поднял крышку и увидел горлышки бутылок, пакеты, свертки, банки консервов. На столе лежала копия квитанции. Так. Копирка, как водится, подгуляла, но почерк разборчивый. Улица Героев… гм… Вроде, все правильно. Заказчик: Малянова И.Е. Ничего себе — привет! Он посмотрел на сумму. Уму непостижимо. Он перевернул квитан-

цию. На обратной стороне ничего интересного не было. Был там расплющенный и присохший комар. Что это Ирка — ошалела совсем, что ли? У нас долгов пятьсот рублей… Подожди… Может быть, она что-нибудь говорила перед отъездом? Он стал вспоминать день отъезда, распахнутые чемоданы, кучи одежды, разбросанные повсюду, полуодетая Ирка орудует утюгом… Не забывай Каляма кормить, травку ему приноси… знаешь, такую острую… за квартиру не забудь заплатить… если шеф позвонит, дай ему мой адрес. Вроде бы все. Что-то она еще говорила, но тут Бобка прибежал со своим пулеметом… Да! Белье надо в стирку отнести… Ни фига не понимаю.

Малянов опасливо потянул из ящика бутылку. Коньяк. Рублей пятнадцать, ей-богу! Да что же это такое — день рождения у меня сегодня, что ли? Ирка уехала когда? Четверг, среда, вторник… Он принялся загибать пальцы. Сегодня десятый день, как она уехала. Значит, заказала заранее. Деньги опять у кого-нибудь заняла и заказала. Сюрприз. Долгов, понимаете, пятьсот рублей, а она — сюрприз!.. Ясно было только одно: в магазин можно не ходить. Все остальное представлялось как бы в тумане. День рождения? Нет. Годовщина свадьбы?? Вроде бы тоже нет. Точно,

нет. День рождения Барбоса? Зимой…

Он пересчитал горлышки. Десять штук, как одна копейка. На кого же это она рассчитывала? Мне столько и за год не выпить. Вечеровский тоже почти не пьет, а Вальку Вайнгартена она не любит.

Калям ужасно заорал. Что-то он там учуял, в этой коробке…»

2. «…лосося в собственном соку и ломоть ветчины с лежалой горбушкой. Потом он принялся мыть посуду. Было совершенно ясно, что при таком великолепии в холодильнике грязь на кухне выглядит особенно неуместно. За это время телефон звонил дважды, но Малянов только челюсть выпячивал. Не пойду, и все. Провались они все со своими гаражами и базами. Сковородку тоже придется помыть, это неизбежно. Сковородка теперь понадобится для более высоких целей, нежели какая-то там яичница… Тут ведь все дело в чем? Если интеграл на самом деле ноль, то в правой части остается только первая и вторая производная… Физический смысл я здесь не совсем понимаю, но все равно, здорово получаются эти пузыри. А что? Так и назову: пузыри. Нет, наверное, лучше „полости“. Полости Малянова. „М-полости“. Гм…

Он расставил по полкам мытую посуду и заглянул в Калямову кастрюлю. Горячо еще слишком, пар идет. Бедный Калямушка. Придется ему потерпеть. Придется Калямушке еще немножко пострадать, пока остынет…

Он вытирал руки, когда его вдруг снова осенило, совсем как вчера. И так же, как вчера, он сначала не поверил.

— Подожди-ка, подожди… — лихорадочно бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по проходному, липнущему к пяткам линолеуму, в густой желтый жар, к столу, к авторучке… Черт, где она? Чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся… И в то же время вторым, а вернее первым, основным планом: функция Гартвига… и всей правой части как не бывало… Полости получаются осесимметричные… А интегральчик-то не ноль! То есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе существенно положительная… Но картина, ах какая картина получается! Как это я сразу не допер? Ничего, Малянов, ничего, браток, не один ты не допер. Академик вон тоже не допер… В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями осесимметричные полости, материя обтекала

их, пыталась проникнуть внутрь, но не могла, на границе материя сжималась до неимоверных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает что там начиналось… Ничего, и это выясним… С волокнистой структурой разберемся — раз. С дугами Рагозинского — два! А потом — планетарные туманности. Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам — оболочки! В точности наоборот!

Снова задребезжал проклятый телефон. Малянов зарычал от ненависти, не переставая писать. Выключить его к чертям сейчас же. Там есть такой рычажок… Он бросился на тахту и сорвал трубку.

— Да!

— Митька?

— Да… Это кто?

— Не узнаешь, собака? — Это был Вайнгартен.

— А, Валька… Чего тебе?

Вайнгартен помедлил.

— Ты почему к телефону не подходишь? — спросил он.

— Работаю, — сказал Малянов злобно. Он был очень неприветлив. Хотелось вернуться к столу и досмотреть картину с пузырями.

— Работаешь… — Вайнгартен засопел. — Нетленку, значит, лепишь…

— Ты что, зайти хотел?

— Зайти? Да нет, не то чтобы зайти…

Малянов окончательно разозлился.

— Так что тебе надо?

— Слушай, отец… А чем ты сейчас занимаешься?

— Работаю! Сказано тебе!

— Да нет… Я хотел спросить: над чем ты работаешь?

Малянов обалдел. Он знал Вальку Вайнгартена двадцать пять лет, и сроду Вайнгартен никакой Маляновской работой не интересовался, сроду Вайнгартена интересовал только сам Вайнгартен лично, а также еще два таинственных предмета его интересовали: двугривенный 1934 года и так называемый „консульский полтинник“, который, собственно, и полтинником-то не был, а был какой-то там особенной почтовой маркой… Делать гаду нечего, решил Малянов. Трепло… Или ему крыша понадобилась, что он так мнется? И тут он вспомнил Аверченко.

— Над чем я работаю? — переспросил он со злорадством. — Изволь, могу рассказать во всех подробностях. Тебе, как биологу это будет

страшно интересно. Вчера утром я наконец слез с мертвой точки. Оказывается, при самых общих предположениях относительно потенциальной функции, мои уравнения движения имеют еще один интеграл, кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то вроде обобщения ограниченной задачи трех тел. Если уравнения движения записать в векторной форме и применить преобразования Гартвига, то интегрирование по всему объему проводится до конца и вся проблема сводится к интегро-дифференциальным уравнениям типа Колмогорова-Феллера…

К его огромному изумлению, Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили.

— Ты меня слушаешь? — спросил он.

— Да-да, слушаю очень внимательно.

— Может быть, ты даже меня понимаешь?

— Секу помаленьку, — бодро сказал Вайнгартен, и тут Малянов в первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался.

— Валька, случилось что-нибудь?

— Где? — спросил Вайнгартен, помедлив опять.

— Где… У тебя, естественно! Я же слышу, что ты

какой-то… Тебе что, разговаривать неудобно?

— Да нет, отец. Все это чепуха. Ладно. Жара замучила. Про двух петухов знаешь анекдот?

— Нет. Ну?

Вайнгартен рассказал анекдот про двух петухов — очень глупый, но довольно смешной, какой-то совсем не Вайнгартеновский анекдот. Малянов, конечно, слушал и, когда пришло на то время, захихикал, но неясное ощущение, что у Вайнгартена не все ладно, от этого анекдота у него только усилилось. Опять, наверное, со Светкой поцапался, подумал он неуверенно. Опять ему эпителий попортили. И тут Вайнгартен спросил:

— Слушай, Митька… Снеговой — такая фамилия тебе ничего не говорит?

— Снеговой? Арнольд Палыч? Ну, сосед у меня есть, напротив живет, через площадку… А что?

Вайнгартен некоторое время молчал. Даже сопеть перестал. Слышно было в трубке только негромкое бряканье, — наверное, подбрасывал он в горсти свои коллекционные двугривенные. Потом он сказал:

— А чем он занимается, твой Снеговой?

— Физик, по-моему. В каком-то ящике работает. Шибко секретный. А ты откуда его знаешь?

— Да я его не знаю, — с непонятной досадой ска-

зал Вайнгартен, и тут раздался звонок в дверь.

— Нет, явно сорвались с цепи! — сказал Малянов. — Подожди, Валька. В дверь наяривают…

Вайнгартен что-то сказал или даже, кажется, крикнул, но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Калям, конечно, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся.

Открывши дверь, он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами. Красивая. Незнакомая. (Малянов сразу ощутил, что он в одних трусах и брюхо у него потное.) У ног ее стоял чемодан, через левую руку был перекинут пыльник.

— Дмитрий Андреевич? — спросила она стесненно.

— Д-да… — проговорил Малянов. Родственница? Троюродная Зина из Омска?

— Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич… Наверное, я некстати… Вот.

Она протянула конверт. Малянов молча взял этот конверт и вытащил из него листок бумаги. Страшные чувства против всех родственников на свете и особенно против этой троюродной Зины… — или Зои?.. — угрюмо клокотали у него в душе.

Впрочем это оказалась не троюродная Зина. Ирка крупными буквами, явно второпях, писала вкривь и вкось: „Димкин! Это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга. Я тебе про нее расск. Прими ее хорошенько, она ненадолг. Не хами. У нас все хор. Она расск. Целую, И.“

Малянов издал протяжный, неслышный миру вопль, закрыл и снова открыл глаза. Однако губы его уже автоматически складывались в приветливую улыбку.

— Очень приятно… — заявил он дружески-развязным тоном. — Заходите, Лида, прошу… Извините меня за мой вид. Жара!

Все-таки, видно, не все было в порядке с его радушием, потому что на лице красивой Лиды вдруг появилось выражение растерянности, и она почему-то оглянулась на пустую, залитую солнцем лестничную площадку, словно вдруг усомнилась, туда ли она попала.

— Позвольте, я вам чемодан… — поспешно сказал Малянов. — Заходите, заходите, не стесняйтесь… Пыльник вешайте сюда… Здесь у нас большая комната, я там работаю, а здесь — Бобкина… Она и будет ваша… Вы, наверное, душ захотите принять?

Тут с тахты донеслось до него гнусавое ква-

канье.

— Пардон! — воскликнул он. — Вы располагайтесь, располагайтесь, я сейчас…

Он схватил трубку и услышал, как Вайнгартен монотонно, не своим каким-то голосом повторяет:

— Митька… Митька… Отвечай, Митька…

— Але! — заорал Малянов. — Валька, слушай…

— Митька! — заорал Вайнгартен. — Это ты?

Малянов даже испугался.

— Чего ты орешь? Тут ко мне приехали, извини. Я тебе потом позвоню.

— Кто? Кто приехал? — страшным голосом спросил Вайнгартен.

Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. С ума сошел Валька. Ну, и денек…

— Валька, — сказал он очень спокойно. — Что с тобой сегодня? Ну, женщина одна приехала… Иркина подруга…

— С-сукин сын! — сказал вдруг Вайнгартен и повесил трубку…»

2

3. «...а она сменила свой мини-сарафан на мини-юбочку и мини-кофточку. Надо сказать, девочка она была в высшей степени призывная, — у Малянова создалось впечатление, что она начисто не признавала лифчиков. Ни к чему ей были лифчики, все у нее было в порядке безо всяких лифчиков. О „полостях Малянова“ он больше не вспоминал.

Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек. Он был уже Димочкой, а она у него уже стала Лидочкой. После третьего стакана Димочка рассказал анекдот о двух петухах — просто к слову пришлось, — и Лидочка очень хохотала и махала на Димочку голой рукой. Он вспомнил (петухи напомнили), что надо бы позвонить Вайнгартену, но звонить не пошел, а вместо этого сказал Лидочке:

— Изумительно вы все-таки загорели!

— А вы — белый, как червяк, — сказала Лидочка.

— Работа, работа! Труды!

— А у нас в пионерлагере…

И Лидочка подробно, но очень мило рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, как ребята загорают на Большой антенне. Что такое Большая антенна? Пожалуйста. Он рассказал, что такое Большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на Бобкин стульчик. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы уйти от зла, проистекающего ввиду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины, — решительный был малый.

— Хотите еще стаканчик? — спросил он.

Лидочка не ответила, и он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми светлыми глазами, и на блестящем от загара лице ее было совершенно неуместное выражение — не то растерянности, не то испуга, — у нее даже рот приоткрылся.

— Налить? — неуверенно спросил Малянов,

качнув чайником.

Лидочка встрепенулась, часто-часто замигала и провела пальцами по лбу.

— Что?

— Я говорю — чайку налить вам еще?

— Да нет, спасибо… — Она засмеялась как ни в чем не бывало. — А то я лопну. Надо фигуру беречь.

— О да! — сказал Малянов с повышенной галантностью. — Такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее стоит даже застраховать…

Она мельком улыбнулась и, повернув голову, через плечо посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление, а именно, что эта шея создана для поцелуев. Равно как и ее плечи. Не говоря уже об остальном. Цирцея, подумал он. И сразу же добавил: впрочем, я люблю свою Ирку и никогда в жизни ей не изменю…

— Вот странно, — сказала Цирцея. — У меня такое ощущение, будто я все это уже когда-то видела: эту кухню, этот двор… Только во дворе было большое дерево… У вас так бывает?

— Конечно, — сказал Малянов с готовностью. —

По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал, это называется ложная память…

— Да, наверное, — проговорила она с сомнением.

Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлебывал горячий чай. В легкой трепотне явно возник какой-то перебой. Словно заело что-то.

— А может быть, мы с вами уже встречались? — спросила она вдруг.

— Где? Я бы вас запомнил…

— Ну, может быть, случайно… где нибудь на улице… на танцах…

— Какие могут быть танцы? — возразил Малянов. — Я уже забыл, как это делается…

И тут они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в бочке, с грохотом пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. „А наш Калям ходит в унитаз…“ Или: „Помидоров в этом году в магазинах не достать…“ Или: „Может быть, еще стаканчик чайку?“ Или, скажем: „Ну, а как вам нравится наш замечательный город?..“

И Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом:

— Ну, а какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?

Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы от крайнего изумления глазами. Потом отвела взгляд, сморщила лоб. Закусила губу. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он с совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу.

— Планы?.. — пробормотала она наконец. — Н-ну… Конечно… А как же… — Она вдруг словно бы вспомнила. — Ну, Эрмитаж, конечно… импрессионисты… Невский… И вообще, я белых ночей никогда не видела…

— Малый туристский набор, — сказал Малянов торопливо, чтобы ей помочь. Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. — Давайте я вам все-таки чайку налью… — предложил он.

И снова она засмеялась как ни в чем не бывало.

— Димочка, — сказала она, очень мило надувши губки. — Ну что вы ко мне пристаете с этим

вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью… А тут еще в такую жару!

— Кофе? — предложил Малянов с готовностью…

Она была категорически против кофе. В жару, да еще на ночь, не следует пить кофе. Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, а там жара тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. Заодно он рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки должны быть видны трусики, а если…»

4. «…потом он налил еще по фужеру. Возникло предложение выпить на „ты“. Без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главное — духовная общность. Выпили на „ты“ и поговорили о духовной общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рислинг кончился, Малянов выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за „каберне“. „Каберне“ было решено пить из Иркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникшей из разговора о мужестве, ледяное красное вино шло особенно хо-

рошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Они обсудили этот вопрос. Не правда ли, ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Где именно? Где-то. Прекрасное слово — „где-то“… Вы где-то свинья. Обожаю этот оборот. Кстати, о ведьмах… Что такое по-твоему брак? Настоящий брак. Интеллигентный брак. Это — договор. Малянов снова наполнил бокалы и развил эту мысль. В том аспекте, что муж и жена в первую очередь друзья, для которых главное — дружба. Искренность и дружба. Брак — это дружба. Договор о дружбе, понимаешь?.. При этом он держал Лидочку за голую коленку и для убедительности встряхивал. Возьми нас с Иркой. Ты знаешь мою Ирку…

В дверь позвонили.

— Это еще кого бог несет? — удивился Малянов, поглядев на часы. — По-моему, у нас все дома.

Было без малого десять. Повторяя: „У нас, знаете ли, все дома…“, он пошел открывать и в прихожей, конечно, наступил на Каляма. Калям вякнул.

— А-а, провались ты, сатана!.. — сказал ему

Малянов и открыл дверь.

Оказалось, что это сосед пожаловал, шибко секретный Снеговой Арнольд Палыч.

— Не поздно? — прогудел он из-под потолка. Огромный мужик, как гора. Седовласый Шат.

— Арнольд Палыч! — сказал ему Малянов с подъемом. — Какое может быть „поздно“ между друзьями? Пр-рошу!

Снеговой заколебался было, видя этот подъем, но Малянов схватил его за рукав и втащил в прихожую.

— Очень, очень кстати… — говорил он, таща Снегового на буксире. — Познакомитесь с прекрасной женщиной!.. — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. — Лидочка, это Арнольд Палыч! — объявил он. — Сейчас я еще один бокал… и бутылочку…

Перед глазами у него, надо сказать, уже немножко плыло. И если честно, то даже не немножко, а основательно. Пить ему больше не следовало, он себя знал. Но очень хотелось, чтобы все было хорошо, дружно, чтобы все всем нравилось. Пусть они друг другу понравятся, растроганно думал он, покачиваясь перед открытым баром и таращась в желтоватые сумерки. Ему все равно, он холостяк. А у меня Ирка!.. Он погрозил пальцем в

пространство и полез в бар.

Слава богу, он ничего не разбил. Но когда он приволок бутылку „Бычьей крови“ и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их показались Малянову зловещими: зловеще-красивое, яркое лицо Лидочки и зловеще-жесткое, лишайчатое от старых ожогов лицо Снегового.

— Что смолкнул веселия глас? — бодро вопросил Малянов. — Все на свете вздор! Есть только одна роскошь на свете — роскошь человеческого общения! Не помню, кто это сказал… — Он откупорил бутылку. — Давайте пользоваться этой общностью… э… роскошью…

Вино полилось рекой, в том числе и на стол. Снеговой подскочил, спасая белые брюки. Все-таки он был ненормально огромен. В наше малогабаритное время не должно быть таких людей. Рассуждая об этом, Малянов кое-как вытер стол, и Снеговой снова опустился на табурет. Табурет хрустнул.

Пока вся роскошь человеческого общения выражалась в нечленораздельных возгласах. О, эта проклятая интеллигентская стеснительность! Не могут два прекрасных человека, сразу же,

немедленно раскрыться друг перед другом, принять друг друга в свои души, стать друзьями с первого взгляда. Малянов встал и, держа бокал на уровне ушей, пространно развил эту тему вслух. Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка скучающе смотрела в окно. Снеговой, пришипившись, крутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Впервые Малянов заметил, что у него и руки обожжены до самых локтей и даже выше. Это вдохновило его на вопрос:

— Ну, Арнольд Палыч, когда вы теперь исчезнете?

Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него, а затем втянул голову в плечи и сгорбился. Малянову показалось даже, что он собирается встать, и тут до него дошло, что вопрос его прозвучал, мягко выражаясь, двусмысленно.

— Арнольд Палыч! — возопил он, воздевая руки к потолку. — Господи, да я совсем не то хотел сказать! Лидочка! Ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает. Придет, занесет ключ от квартиры и как бы растворяется в воздухе! Месяц его нет, другой нет. Вдруг — звонок. Является… — Он почувствовал, что несет

лишнее, что хватит уже, что пора выруливать из этой темы. — В общем, Арнольд Палыч, вы прекрасно знаете, что я вас очень люблю и всегда рад видеть вас. Так что о том, чтобы исчезать раньше двух часов, не может быть и речи…

— Ну конечно, Дмитрий Алексеевич… — прогудел Снеговой и похлопал Малянова ладонью по плечу. — Конечно, дорогой, конечно…

— А это — Лидочка! — сказал Малянов, тыча пальцем в сторону Лидочки. — Лучшая школьная подруга моей жены. Из Одессы.

Снеговой с видимым усилием повернулся к Лидочке и спросил:

— Вы надолго в Ленинград?

Она что-то ответила довольно доброжелательно, и он снова что-то спросил, что-то про белые ночи…

Словом, у них началось все-таки роскошное общение, и Малянов смог перевести дух. Не-ет, ребята, мне пить нельзя. Ну и срамотища! Трепло забалдевшее. Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изъеденный адским огнем лик Снегового и мучился совестью. Когда мучения стали нестерпимыми, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванной и заперся там. Некоторое время он в

угрюмом отчаянии сидел на краю ванны, затем пустил холодную воду на полную мощность и, кряхтя, подставил голову.

Когда он вернулся, освеженный и с мокрым воротником, Снеговой натужно рассказывал анекдот про двух петухов. Лидочка звонко хохотала, закидывая голову и открывая свою созданную для поцелуев шею. Малянов воспринял это с удовлетворением, хотя в общем-то ему не нравились люди, которые возводят вежливость в искусство. Впрочем, роскошь общения, как и всякая другая роскошь, несомненно, требовала определенных издержек. Он подождал, пока Лидочка отсмеется, подхватил падающее знамя и разразился серией астрономических анекдотов, которых никто из присутствующих знать не мог. Когда он выдохся, Лидочка порадовала общество анекдотами пляжными. Анекдоты были, мягко говоря, довольно средние, и рассказывать Лидочка не умела, но зато она умела хохотать, и зубки у нее были белые как сахар. Затем разговор как-то перекинулся в область предсказания будущего. Лидочка поведала, что цыганка предсказала ей трех мужей и бездетность. „Что бы мы делали без цыганок?“ — пробормотал Малянов и похвастался, что вот ему лично цыганка нагадала крупное открытие

относительно взаимодействия звезд с диффузионной материей в Галактике. Они снова хватили ледяной „Бычьей крови“, и тут Снеговой вдруг разразился странной историей.

Оказывается, ему было предсказано, что умрет он восьмидесяти трех лет в Гренландии. („В Гренландской социалистической республике…“ — немедленно сострил Малянов, но Снеговой спокойно возразил: „Нет, просто в Гренландии…“) В это он фатально верит, и эта уверенность всех вокруг раздражает. Однажды — это было во время войны, хотя и не на фронте, — один из его знакомых, под банкой, конечно, или, как тогда говорили, вполсвиста, до того раздражился, что вытащил „ТТ“, приставил дуло к голове Снегового и, сказавши: „А вот мы проверим!“ — спустил курок.

— И?.. — спросила Лидочка.

— Убит наповал, — сострил Малянов.

— Была осечка, — сказал Снеговой.

— Странные у вас знакомые, — сказала Лидочка с сомнением.

Тут она попала в самую точку. Вообще-то Арнольд Палыч рассказывал о себе редко, но смачно. И если судить по этим рассказам, то знакомые у него и в самом деле были очень необычные.

Некоторое время Малянов горячо спорил с Лидочкой, как Арнольда Палыча может занести в Гренландию. Малянов склонялся к авиационной катастрофе. Лидочка же настаивала на обыкновенной туристической поездке. Сам Арнольд Палыч, растянув лиловые губы в улыбку, помалкивал и садил сигарету за сигаретой.

Потом Малянов спохватился и вознамерился было снова расплескать по бокалам, но обнаружил, что и эта бутылка уже пуста. Он рванулся за новой, однако Арнольд Палыч остановил его. Ему уже пора было идти, он ведь просто так забежал, на минутку. Лидочка, напротив, готова была продолжать. Она вообще была ни в одном глазу, только щеки немного раскраснелись.

— Нет-нет, ребята, — сказал Снеговой. — Я должен идти. — Он грузно поднялся и снова заполнил собой всю кухню. — Я уж пойду, Дмитрий Алексеевич, проводите меня… Спокойной ночи, Лидочка. Рад был познакомиться.

Они двинулись в прихожую. Малянов все пытался уговорить его остаться еще на бутылочку, но Снеговой только мотал седогривой головой и отрицательно мычал. В дверях он вдруг громко произнес:

— Да, Дмитрий Алексеевич! Я же обещал вам

одну книгу… Пойдемте, я вам отдам…

„Какую это книгу?“ — хотел спросить Малянов, но Снеговой прижал толстый палец к губам и увлек его через площадку к своей квартире. Этот толстый палец так поразил Малянова, что он последовал за Снеговым, как овечка. Молча, все еще держа Малянова за локоть, Снеговой нашарил свободной рукой ключ в кармане и открыл дверь. По всей квартире у него горел свет — и в прихожей, и в обеих комнатах, и на кухне, и даже в ванной. Пахло застарелым табачным дымом и тройным одеколоном, и Малянову вдруг пришло в голову, что за все пять лет знакомства он, пожалуй, ни разу здесь не был. В комнате, куда Снеговой его ввел, было чисто и прибрано и горели все лампы — тройник под потолком, торшер в углу над диваном и даже маленькая лампа на столе. На спинке стула висел китель с серебряными погонами инженер-полковника и с целой коллекцией орденских планок. Оказывается, наш Арнольд Палыч — полковник… Так-так-так!

— Какую книгу? — спросил наконец Малянов.

— Любую, — сказал Снеговой нетерпеливо. — Возьмите вот эту и держите в руках, чтобы не забыть… И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола

толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Арнольд Палыч сел рядом и сейчас же закурил. На Малянова он не глядел.

— Значит так… — прогудел он. — Значит так… Прежде всего. Что это за женщина?

— Лидочка? Я же вам сказал: подруга жены. А что?

— Вы ее хорошо знаете?

— Н-нет… Только сегодня познакомился. Она приехала с письмом… — Малянов запнулся и испуганно спросил: — А вы что, думаете, она…

Снеговой перебил его.

— Спрашивать буду я. Времени у нас нет. Над чем вы сейчас работаете, Дмитрий Алексеевич?

Малянов сразу вспомнил Вальку Вайнгартена, и его снова охватило нехорошим холодком. Он сказал, криво ухмыльнувшись:

— Что-то сегодня все интересуются, над чем я работаю…

— А кто еще? — быстро спросил Снеговой, буравя его маленькими синими глазками. — Она?

Малянов потряс головой.

— Нет… Вайнгартен… Мой друг.

— Вайнгартен… — Снеговой насупился. — Вайнгартен…

— Да нет! — сказал Малянов. — Я его хорошо

знаю, еще в школе вместе учились, до сих пор дружим…

— Такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Нет… Да что случилось, Арнольд Палыч?

Снеговой раздавил в пепельнице окурок и закурил новую сигарету.

— Кто еще спрашивал о вашей работе?

— Больше никто…

— Так над чем вы работаете?

Малянов вдруг разозлился. Он всегда злился, когда ему становилось страшно.

— Слушайте, Арнольд Палыч, — сказал он. — Я не понимаю.

— Я тоже! — сказал Снеговой. — И очень хочу понять! Рассказывайте! Подождите… У вас закрытая работа?

— Кой черт — закрытая? — раздраженно сказал Малянов. — Обыкновенная астрофизика и звездная динамика. Взаимодействие звезд с диффузионной материей. Ничего закрытого здесь нет, просто я не люблю рассказывать о своей работе, пока не закончу!

— Звезды и диффузионная материя… — медленно повторил Снеговой и пожал плечами. — Где

имение, а где вода… И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря вы точно не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой молча дымил рядом с ним — огромный, сгорбившийся, страшный. Потом он сказал:

— Ну, на нет и суда нет. У меня к вам все, Дмитрий Алексеевич. Извините ради бога.

— Да, но у меня не все! — сказал Малянов сварливо. — Я бы все-таки хотел понять…

— Не имею права, — сказал Снеговой, как отрезал.

Конечно, так просто Малянов бы от него не отстал. Но тут он заметил такое, что сразу прикусил язык. У Снегового левый карман его гигантской пижамы оттопыривался, и там весьма отчетливо и недвусмысленно отсвечивала рукоятка пистолета. Большого какого-то пистолета. Вроде гангстерского кольта в кино. И этот кольт сразу отбил у Малянова желание расспрашивать. Както сразу ему стало ясно, что его дело телячье и что спрашивает здесь не он. А Снеговой поднялся и сказал:

— Теперь вот что, Дмитрий Алексеевич. Я завтра опять…»

3

5. «...полежал на спине, не спеша очухиваясь. Под окном уже вовсю грохотали прицепы, а в квартире было тихо. От вчерашнего бестолкового дня остался только легкий шум в голове, металлический привкус во рту и какая-то неприятная заноза в душе или в сердце, или бог знает еще где. Он стал разбираться, что это за заноза, но тут раздался осторожный звонок в дверь. А, это Палыч с ключами, сообразил он и торопливо соскочил с постели.

По дороге через прихожую он мельком отметил, что на кухне все прибрано, а дверь в Бобкину комнату плотно закрыта и задернута изнутри занавеской. Дрыхнет Лидочка. Встала, посуду помыла, и снова завалилась.

Пока он возился с замком, звонок снова деликатно звякнул.

— Сейчас, сейчас... — сиплым со сна голосом проговорил он. — Одну минутку, Арнольд Палыч...

Однако это оказался вовсе не Арнольд Палыч. Шаркая ногами по резиновому коврику, у порога

стоял совершенно незнакомый молодой человек. Он был в джинсах, в черной рубашке с закатанными рукавами и в огромных противосолнечных очках. Тонтон-макут. Малянов еще успел заметить, что в глубине лестничной площадки, возле лифта, маячат еще двое тонтон-макутов в черных очках, но ему сразу стало не до них, потому что первый тонтон-макут произнес вдруг: „Из уголовного розыска“ — и протянул Малянову какую-то книжечку. В развернутом виде.

„Очень мило!“ — пронеслось у Малянова в голове. Все ясно. Этого и следовало ожидать. Чувства его были расстроены. Он тупо смотрел в раскрытую книжечку. Там была фотокарточка, какие-то печати и надписи, но воспринял он своими расстроенными чувствами только одно: „Управление Министерства внутренних дел“. Крупными буквами.

— Да-да… — пролепетал он. — Конечно. Прошу. А в чем дело?

— Здравствуйте, — произнес тонтон-макут очень вежливо. — Вы — Малянов Дмитрий Алексеевич?

— Я…

— Несколько вопросов с вашего разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста… — сказал Ма-

лянов. — Подождите, здесь у меня не убрано… Только что встал… Может быть, на кухню?.. Нет, там сейчас солнце… Ладно, заходите сюда, я сейчас уберу.

Тонтон-макут прошел в большую комнату и скромно остановился посередине, откровенно озираясь, а Малянов кое-как убрал постель, накинул рубашку, натянул джинсы и бросился раздергивать шторы и открывать окно.

— Вы садитесь вот сюда, в кресло… Или вам удобнее за стол? А что, собственно, случилось?

Осторожно перешагивая через разбросанные на полу листки, тонтон-макут приблизился к креслу, уселся и положил на колени свою папку.

— Ваш паспорт, пожалуйста, — сказал он.

Малянов сунулся в стол, выкопал паспорт и передал ему.

— Кто еще здесь живет? — спросил тонтон-макут, разглядывая паспорт.

— Жена… сын… Но их сейчас нет. Они сейчас в Одессе… в отпуске… у тещи…

Тонтон-макут положил паспорт на свою папку и снял черные очки. Такой обыкновенный, простоватой внешности молодой человек. И никакой не тонтон-макут, а скорее уж продавец. Или, скажем, мастер из телеателье.

— Давайте познакомимся, — сказал он. — Я — старший следователь уголовного розыска, зовут меня Игорь Петрович Зыков.

— Очень приятно, — сказал Малянов.

Тут ему в голову пришло, что он, черт возьми, не какой-нибудь уголовный преступник, что он, черт возьми, старший научный сотрудник и кандидат наук. И не мальчишка, между прочим. Он закинул ногу на ногу, уселся поудобнее и сказал сухо:

— Слушаю вас.

Игорь Петрович приподнял свою папку двумя руками, тоже положил ногу на ногу и, опустив папку на колено, спросил:

— Вы Снегового Арнольда Павловича знаете?

Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то — ему и самому не было ясно, почему — он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Палыча. Поэтому он по-прежнему сухо ответил:

— Да. С полковником Снеговым я знаком.

— А откуда вам известно, что он полковник? — немедленно поинтересовался Игорь Петрович.

— Н-ну, как вам сказать… — проговорил Малянов уклончиво. — Все-таки мы знакомы давно…

— Как давно?

— Н-ну… лет пять, наверное… с тех пор, как вьехали в этот дом…

— А при каких обстоятельствах вы познакомились?

Малянов стал вспоминать. Действительно, при каких обстоятельствах? Ч-черт… Когда он ключ принес в первый раз, что ли?.. Нет, мы тогда уже были знакомы…

— Гм… — сказал он, снял ногу с ноги и поскреб в затылке. — Вы знаете, не помню. Помню, был такой случай… Лифт не работал, а Ирина — это моя жена — возвращалась из магазина с покупками и с сынишкой… Арнольд Палыч взял у нее авоську и ребенка… Ну, жена пригласила заходить… Кажется, в тот же вечер он и зашел…

— Он был в форме?

— Нет, — сказал Малянов уверенно.

— Так… И с тех пор вы, значит, подружились?

— Н-ну, что значит — подружились? Он заходит к нам иногда… берет книги, приносит книги… чаек иногда пьем вместе… а когда он уезжает в командировки, отдает нам ключи…

— Зачем?

— Как — зачем? — сказал Малянов. — Мало ли…

В самом деле, зачем? Как-то это мне никогда

в голову не приходило. Так, на всякий случай, наверное…

— На всякий случай, наверное, — сказал Малянов. — Например, приедет кто-нибудь из родных… или еще что-нибудь…

— Кто-нибудь приезжал?

— Да нет… насколько я помню — нет. При мне, во всяком случае, никто не приезжал. Может быть, жена что-нибудь по этому поводу знает…

Игорь Петрович задумчиво покивал, затем спросил:

— Ну, а приходилось вам с ним говорить о науке, о работе?

Опять о работе…

— О чьей работе? — мрачно спросил Малянов.

— О его, конечно. Ведь он, кажется, был физиком…

— Понятия не имею. Скорее уж ракетчиком каким-нибудь…

Он еще не успел договорить, как его обдало холодом. То есть как это — БЫЛ? Почему — БЫЛ? Ключ не занес… Господи, да что же случилось, наконец? Он уже готов был заорать во весь голос: „То есть в каком это смысле БЫЛ?“, но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с панталыку. Стремительным движением фехтовальщика

он выбросил в сторону руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик.

— А это откуда у вас? — спросил он резко, и мирное лицо его вдруг хищно осунулось. — Откуда у вас это?

— По… позвольте… — проговорил Малянов, приподнимаясь.

— Сидите! — прикрикнул Игорь Петрович. Сизые его глазки бегали по лицу Малянова. — Как к вам попали эти данные?

— Какие данные? — прошептал Малянов. — Какие к черту данные? — заревел он. — Это мои расчеты!

— Это не ваши расчеты, — холодно возразил Игорь Петрович, тоже повышая голос. — Вот этот график — откуда он у вас?

Он издали показал листок и постучал ногтем по кривой плотности.

— Из головы! — сказал Малянов свирепо. — Вот из этой! — Он ударил кулаком по темени. — Это зависимость плотности от расстояния до звезды!

— Это кривая роста преступности в нашем районе за последний квартал! — объявил Игорь Петрович.

Малянов потерял дар речи. А Игорь Петрович, брезгливо оттопырив губы, продолжал:

— Даже срисовать толком не сумели… Не так она на самом деле идет, а вот так… — С этими словами он взял карандаш Малянова, вскочил и, положив листок на стол, принялся, сильно надавливая, чертить поверх кривой плотности какую-то ломаную линию, приговаривая при этом: — Вот так… А здесь вот так, а не так… — Закончив и сломав грифель, он отшвырнул карандаш, снова уселся и посмотрел на Малянова с сожалением. — Эх, Малянов, Малянов, — произнес он. — Квалификация у вас высокая, опытный преступник, а действуете, как последняя сявка…

Малянов обалдело переводил взгляд с чертежа на его лицо и обратно. Это не лезло ни в какие ворота. То есть до такой степени не лезло, что не имело смысла ни говорить, ни кричать, ни молчать. Собственно, строго говоря, в этой ситуации следовало бы попросту проснуться.

— Ну, а жена ваша в хороших отношениях со Снеговым? — спросил Игорь Петрович прежним вежливым до бесцветности голосом.

— В хороших… — сказал Малянов тупо.

— Она с ним на „ты“?

— Послушайте, — сказал Малянов. — Вы мне чертеж испортили. Что это такое, в самом деле?

— Какой чертеж? — удивился Игорь Петрович.

— Да вот этот, график…

— А! Ну, это не существенно. Снеговой заходит в гости, когда вас нет дома?

— Несущественно… — повторил за ним Малянов. — Это, знаете ли, вам несущественно, — проговорил он, поспешно собирая со стола бумаги и кое-как распихивая их по ящикам. — Сидишь тут, сидишь как проклятый, вкалываешь, потом приходят всякие и говорят, что это несущественно… — бормотал он, опускаясь на корточки и собирая черновики, разбросанные по полу.

Игорь Петрович без всякого выражения следил за ним, аккуратно ввинчивая сигарету в мундштучок. Когда Малянов, отдуваясь, потный и злой, вернулся на свое место, Игорь Петрович спросил вежливо:

— Вы разрешите закурить?

— Курите, — сказал Малянов. — Вон пепельница… И знаете, спрашивайте поскорей, что вам нужно. Мне работать пора.

— Это зависит только от вас, — возразил Игорь Петрович, деликатно выпустив дым из угла рта в сторону от Малянова. — Вот, например, такой вопрос: как вы обычно называете Снегового — полковник, по фамилии или по имени-отчеству?

— Когда как придется, — буркнул Малянов. —

Какая вам разница, как я его называю.

— Полковником тоже называете?

— Ну называю. Ну?

— Это очень странно, — сказал Игорь Петрович, осторожно стряхивая пепел. — Дело в том, что Снеговой получил звание полковника только позавчера.

Это был удар. Малянов молчал, чувствуя, что лицо его заливается краской.

— Так откуда вы узнали, что Снеговой произведен в полковники?

Малянов махнул рукой.

— Ладно, — сказал он. — Чего там… Ну, прихвастнул. Ну, не знал я, что он полковник… или там подполковник… Просто я вчера к нему зашел, увидел китель с погонами…

— А когда вы вчера у него были?

— Да вечером. Поздно… Книгу вот у него взял. Вот эту…

Это он зря сболтнул — про книгу. Игорь Петрович сейчас же книгу придвинул к себе и принялся ее листать, а Малянов покрылся холодным потом, потому что понятия не имел, что это за книга и о чем.

— Это на каком же она языке? — рассеяно спросил Игорь Петрович.

— Э… — промямлил Малянов, вторично покрываясь холодным потом. — На английском, надо полагать…

— Да нет, как будто… — проговорил Игорь Петрович, вглядываясь в текст. — Это все-таки кириллица у вас… не латынь… А! Да это же русский.

Малянов облился потом в третий раз, но Игорь Петрович только положил книгу на место, нацепил свои черные очки и, откинувшись в кресле, уставился на него. А Малянов уставился на Игоря Петровича, стараясь не мигать и не отводить взгляда. В голове у него было следующее: сукин ты сын… капитан Конкассер вшивый… не скажу, где наши…

— На кого я похож, по вашему? — спросил вдруг Игорь Петрович.

— На тонтон-макута, — ляпнул Малянов не задумываясь.

— Неправильно, — сказал Игорь Петрович. — Попробуйте еще разок.

— Не знаю… — пробормотал Малянов.

Игорь Петрович снял очки и укоризненно покачал головой.

— Плохо! Ну — плохо! Никуда не годится. Странное у вас представление о наших органах

следствия… Это надо же — тонтон-макут!

— Ну, а на кого же? — спросил Малянов трусливо.

Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками.

— На человека-невидимку! — сказал он раздельно. — Единственное сходство с тонтон-макутом — единственное! — что тоже пишется через черточку.

Он замолчал. Стояла тяжелая ватная тишина, даже машины перестали взревывать под окном. Малянов не слышал ни одного звука, и ему опять мучительно захотелось проснуться. И вдруг в этой тишине грянул телефон.

Малянов вздрогнул. Игорь Петрович, кажется, тоже. Звонок грянул вторично. Опираясь на подлокотники, Малянов приподнялся и вопросительно посмотрел на Игоря Петровича.

— Да-да, — сказал тот. — Это, наверное, вас.

Малянов добрался до тахты и взял трубку. Это был Валька Вайнгартен.

— Здорово, астрофаг, — буркнул он. — Что не звонишь, скотина?

— Ты понимаешь… не до того было…

— Развлекаешься?

— Д-да… — промямлил Малянов. Он все время

чувствовал у себя на затылке взгляд капитана Конкассера. — Слушай, Валька, я тебе попозже позвоню…

— А что у тебя там? — сейчас же встревожился Вайнгартен.

— Да так… Я тебе потом расскажу.

— Баба эта?

— Нет.

— Мужчина?

— Ага…

Вайнгартен тяжело задышал в трубку.

— Слушай, — сказал он, понизив голос. — Я сейчас к тебе приеду. Хочешь?

— Нет! Тебя еще здесь не хватало…

Вайнгартен снова задышал.

— Слушай, — сказал он. — Он рыжий?

Малянов невольно оглянулся на Игоря Петровича. К его удивлению, Игорь Петрович на него вовсе не смотрел, а читал, шевеля губами, книгу Снегового.

— Да нет, что за чушь? Ладно, я потом тебе позвоню…

— Обязательно позвони! — заорал Валька. — Как только он уйдет, сразу же звони!

— Ладно, — сказал Малянов и повесил трубку. Потом он вернулся на свое место, пробормотал:

„Пардон…“

— Ничего-ничего, — сказал Игорь Петрович и отложил книгу. — Широкие у вас все-таки интересы, Дмитрий Алексеевич…

— Д-да… не жалуюсь… — промямлил Малянов. Ч-черт, хоть бы одним глазком глянуть, что это за книга. — Игорь Петрович, — сказал он просительно. — Давайте, если можно, как-нибудь закругляться. Второй час уже.

— Ну, разумеется! — воскликнул Игорь Петрович с готовностью. Он озабоченно взглянул на часы и извлек из папки блокнот. — Значит, так. Вчера вечером вы заходили к Снеговому. Так?

— Да.

— За этой книгой?

— Д-да… — сказал Малянов, решив ничего больше не уточнять.

— Когда это было?

— Поздно… около двенадцати…

— Вам не показалось, что Снеговой собирается куда-то уезжать?

— Да, показалось. То есть не показалось. Он просто сам сказал, что завтра утром уезжает и занесет мне ключи…

— Занес?

— Нет. То есть, может, он и звонил в дверь, но я

не слышал, спал…

Игорь Петрович быстро писал, положив блокнот на папку, лежащую на колене. На Малянова он теперь вовсе не смотрел, даже когда задавал вопросы. Торопился, что ли?

— А Снеговой не сказал вам, куда он собирается ехать?

— Нет. Он никогда не говорит, куда едет.

— Но вы догадываетесь, куда он ездит?

— Н-ну, в общем… догадываюсь… На полигон какой-нибудь… или еще что-нибудь еще в этом роде…

— Он вам что-нибудь рассказывал об этом?

— Нет, конечно. Мы о его работе никогда не говорили.

— Откуда же вы догадываетесь?

Малянов пожал плечами. В самом деле, откуда? Такие вещи объяснить невозможно… Ясно, что человек работает в глубоком ящике, лицо вон все обожжено, руки… и манеры соответствующие… и то, что уклоняется от разговоров о работе…

— Не знаю, — сказал Малянов. — Как-то мне всегда казалось… Не знаю.

— Он знакомил вас с кем-нибудь из своих друзей?

— Нет, никогда.

— А с женой?

— Разве он женат? Я всегда считал, что он холостяк или… это… вдовец…

— А почему вы так считали?

— Не знаю, — сказал Малянов. — Интуиция.

— А может быть, ваша жена вам об этом говорила?

— Ирка? Ей-то откуда знать?

— Вот это я и хотел бы выяснить.

Воцарилось молчание, оба они уставились друг на друга.

— Не понимаю, — сказал Малянов. — Что вы хотите выяснить?

— Откуда ваша жена знала, что Снеговой не женат?

— Э-э… А-а… А она знала?

Игорь Петрович не ответил. Он пристально смотрел на Малянова, и зрачки его странным и зловещим образом то сужались, то расширялись. Нервы у Малянова были натянуты до предела. Ему казалось: еще секунда — и он начнет колотить кулаками по столу, брызгать слюной и вообще потеряет лицо. Он просто больше не мог. Во всей этой болтовне был какой-то зловещий подтекст, все это было похоже на липкую паутину, и в эту паутину почему-то то и дело затягивали Ирку…

— Ну, ладно, — сказал вдруг Игорь Петрович, захлопывая блокнот. — Значит, коньяк у вас здесь… — Он указал на бар. — А водка — в холодильнике. Вы что предпочитаете? Лично вы.

— Я?

— Да. Вы. Лично.

— Коньяк… — произнес Малянов хрипло и глотнул. В горле у него было сухо.

— Вот и прекрасно! — бодренько сказал Игорь Петрович, легко поднялся и мелкими шажками двинулся к бару. — Далеко ходить не надо… Таак! — Он уже копался в баре. — Ага, тут у вас и лимончик есть… подсох слегка, но это ничего… Какие рюмочки прикажете? Давайте вот из этих, из синеньких…

Малянов тупо смотрел, как он с необыкновенной ловкостью расставляет на столе рюмки, тонкими ломтиками нарезает лимон, откупоривает бутылку.

— Вы знаете, — говорил он, — если откровенно — дело ваше дрянь. Разумеется, все решает суд, но я как-никак десять лет работаю, кое-какой опыт имею. Всегда, знаете ли, можно представить себе, какое дело на что тянет. Вышки вам не дадут, но лет пятнадцать я вам, можно сказать, гарантирую… — Он аккуратно, не пролив ни капли,

разлил коньяк по рюмкам.

— Разумеется, всегда могут открыться смягчающие обстоятельства, но пока я их, откровенно говоря, не вижу… Не вижу, не вижу и не вижу, Дмитрий Алексеевич! Ну… — Он поднял рюмку и приглашающе наклонил голову.

Одеревенелыми пальцами Малянов взялся за свою рюмку.

— Хорошо… — произнес он не своим голосом. — Но могу я все-таки узнать, что происходит?

— Ну, разумеется! — вскричал Игорь Петрович. Он выпил, кинул в рот ломтик лимона и энергично закивал. — Разумеется, можете! Теперь я вам все расскажу. Имею полное право.

И он рассказал.

Сегодня в восемь утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром. К удивлению водителя, Снеговой не дожидался в подъезде, как обычно. Повременив пять минут, водитель поднялся на лифте и позвонил в квартиру. Никто ему не открыл, хотя звонок работал — водитель слышал это прекрасно. Тогда он спустился вниз и из автомата на углу доложил по начальству о создавшейся ситуации. Начальство стало звонить Снеговому по телефону. Телефон Снегового был все время занят. Тем временем водитель, обой-

дя дом, обнаружил, что все три окна Снегового раскрыты настежь и в квартире, несмотря на высокое уже солнце, горит электрический свет. Водитель немедленно доложил об этом. Были вызваны компетентные лица, которые, прибыв, тут же взломали замок и осмотрели квартиру Снегового. При осмотре было обнаружено, что все электролампы в квартире включены, на кровати в спальне стоит незакрытый, но собранный чемодан, а сам Снеговой сидит в своем кабинете за столом, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой — пистолет системы Макарова. Было установлено, что Снеговой скончался от огнестрельной раны, нанесенной из этого пистолета в правый висок в упор. Смерть последовала мгновенно между тремя и четырьмя часами утра.

— А я-то здесь при чем? — просипел Малянов.

В ответ Игорь Петрович подробно рассказал, как строилась баллистическая кривая и как была обнаружена пуля, прошедшая навылет и застрявшая в стене.

— Но я-то, я-то здесь при чем? — спрашивал Малянов, истово ударяя себя в грудь. К этому моменту они уже выпили по третьей.

— Но вам его жалко? — спрашивал Игорь Петрович. — Жалко его вам?

— Жалко, конечно… Он был отличный мужик… Но я-то! Меня-то вы почему? Я и пистолета сроду в руках не держал! Я же невоеннообязанный… по зрению…

Игорь Петрович его не слушал. Он подробно рассказывал, как следствию удалось в короткие сроки выяснить, что покойный Снеговой был левша, и очень странно, что застрелился он, держа пистолет в правой руке.

— Ну да, ну да! — согласился Малянов. — Арнольд Палыч действительно был левша, я тоже это знаю, могу подтвердить… Но я-то… Я ведь спал всю ночь! А потом, зачем я его буду убивать, сами посудите!

— Ну а кто же? Кто? — ласково спросил Игорь Петрович.

— Откуда мне знать? Это вы должны знать, кто!

— Вы-с! — гнусно-вкрадчивым голосом Порфирия произнес Игорь Петрович, разглядывая Малянова сквозь рюмку одним глазом. — Вы и убили-с, Дмитрий Алексеевич!..

— Кошмар какой-то… — пробормотал Малянов беспомощно. Ему хотелось заплакать от отчаяния.

И тут легкий сквознячок потянул по комнате,

шевельнул сдвинутую штору, и яростное пополуденное солнце, ворвавшись в окно, ударило Игоря Петровича прямо по лицу. Он зажмурился, заслонился растопыренной пятерней, подвинулся в кресле и торопливо поставил рюмку на стол. Что-то с ним случилось. Глаза часто замигали, на щеки набежала краска, подбородок дрогнул. „Простите… — прошептал он с совершенно человеческой интонацией. — Простите, Дмитрий Алексеевич… Может быть. вы… Как-то здесь…“

Он замолчал, потому что в Бобкиной комнате что-то грохнуло и разлетелось с длинным дребезгом.

— Это что такое? — спросил Игорь Петрович, насторожившись. Души человеческой снова не было в его голосе.

— Это там… один человек… — проговорил Малянов, так и не успев понять, что же произошло с Игорем Петровичем. Совсем другая мысль вдруг осенила его. — Слушайте! — вскричал он, вскакивая. — Пойдемте! Вот, пожалуйста, там подруга жены! Она подтвердит!.. Всю ночь спал, никуда не выходил…

Толкаясь плечами, они устремились в прихожую.

— Интересно, интересно… — приговаривал

Игорь Петрович. — Подруга жены… Посмотрим!

— Она подтвердит… — бормотал Малянов. — Сейчас увидите… Подтвердит…

Они без стука ворвались в Бобкину комнату и остановились. Комната была прибрана и пуста. Лидочки не было, постели на тахте не было, чемодана не было. А под окном, рядом с осколками глиняного кувшина (Хорезм, XI век) сидел Калям с необыкновенно невинным видом.

— Это? — произнес Игорь Петрович, указывая на Каляма.

— Нет… — ответил Малянов глупо. — Это наш кот, он у нас давно… Позвольте, а где же Лидочка? — Он оглянулся на вешалку. Белого пыльника тоже не было. — Она ушла, наверное…

Игорь Петрович пожал плечами.

— Наверное, — сказал он. — Здесь ее нет.

Тяжело ступая, Малянов подошел к разбитому кувшину.

— С-скотина! — сказал он и дал Каляму по уху.

Калям шарахнулся вон. Малянов присел на корточки. Вдребезги. Какой хороший кувшин был…

— А она у вас ночевала? — спросил Игорь Петрович.

— Да, — сказал Малянов мрачно.

— Когда вы ее видели в последний раз? Се-

годня?

Малянов помотал головой.

— Вчера. То есть, собственно, сегодня. Ночью. Я ей простыни давал, одеяло… — Он заглянул в Бобкин ящик для постельного белья. — Вот. Все тут.

— Давно она у вас живет? — спросил Игорь Петрович.

— Вчера приехала.

— А вещи ее здесь?

— Не вижу, — сказал Малянов. — И пыльника ее нет.

— Странно, верно? — сказал Игорь Петрович.

Малянов молча махнул рукой.

— Ну и черт с нею, — сказал Игорь Петрович. — С этими бабами одна морока. Пойдемте еще по рюмочке…

Вдруг входная дверь распахнулась… и в прихожую…»

6. «…дверь лифта, загудел мотор. Малянов остался один.

Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем в общем не думая. Появился откуда-то Калям, прошел, нервно подрагивая хвостом, мимо него, вышел на площадку и принялся лизать цементный пол.

— Ну, ладно, — сказал Малянов наконец, ото-

рвался от косяка и прошел в большую комнату.

Было там накуренно, сиротливо стояли три синие рюмки на столе — две пустые и одна наполовину полная, солнце уже добиралось до книжных полок.

— Коньяк унес… — сказал Малянов. — Это надо же!

Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. За окном грохотало и фырчало, через открытые двери доносились с лестницы детские вопли и шумы лифта. Пахло щами. Потом он встал, протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокся нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся ее кончиками пальцев и отдернул руку. Все было правдой. Все, что случилось, — случилось. Гражданин Советского Союза Арнольд Павлович Снеговой, полковник и загадочный человек, ушел из жизни».

4

7. «Он помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал Каляму рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца, накрошил хлеба, обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел эту тюрю, стоя перед балконным окном и глядя на залитый солнцем пустой двор. Даже деревья не удосужились посадить. Хоть одно.

Мысли его текли вялой струйкой, да и не мысли это были, собственно, — так, обрывки какие-то. Может быть, это такие новые методы следствия, думал он. Научно-техническая революция и вообще. Непринужденность и психическая атака… Но насчет коньяка — как-то совсем непонятно. Игорь Петрович Зыков… или Зыкин? Ну, это он мне сам так представился, а вот что у него было в документе? Мазурики! — подумал он вдруг. Спектакль со мной разыграли ради полбутылки коньяка…

Нет, Снеговой умер, это ясно. Снегового я

больше не увижу. Хороший был человек, только какой-то нелепый. Какой-то он всегда был неустроенный… особенно вчера. А ведь кому-то он звонил… звонил он кому-то, что-то хотел сказать еще, объяснить, предупредить о чем-то. Малянова передернуло. Он поставил в мойку грязный стакан — эмбрион будущей кучи грязной посуды. Здорово Лидочка кухню убрала, все так и сверкает… А он меня предупреждал насчет Лидочки. Действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно…

Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. Нет, ерунда. Все правильно. И почерк явно Иркин, и манера ее… И вообще, вы подумайте: ну на кой ляд убийце мыть посуду?..»

8. «…у Вальки был занят. Малянов положил трубку и растянулся на тахте, уткнувшись носом в жесткий ворс. У Вальки ведь там тоже что-то не в порядке. Истерика какая-то… Вообще с ним такое случается. Либо со Светкой поругался, либо с тещей… Что-то он у меня спрашивал, странное что-то… Эх, Валька, мне бы твои заботы! Нет, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике — глядишь, вдвоем что-нибудь и придумаем… Малянов снова набрал номер, и снова оказалось

занято. Ч-черт, как время бездарно проходит! Сейчас бы самое работать и работать, а тут вся эта пакость.

И вдруг кто-то кашлянул в прихожей у него за спиной. Малянова как ветром снесло с тахты. И зря, конечно. Никого там, в прихожей, не было. И в ванной тоже. И в сортире. Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Ч-черт, нервы сдали. А этот тип еще убеждал меня. что похож на человека-невидимку. На глисту ты похож очкастую, а не на человека-невидимку! Он еще раз набрал телефон Вальки, бросил трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что все время треплется… Он натянул чистую рубашку, проверил в кармане ключи, запер за собой дверь и побежал вверх по лестнице.

На шестом этаже в нише у мусоропровода миловалась парочка. Парень был в черных очках, но Малянов знал этого сопляка — кандидат в рядовые необученные из семнадцатой квартиры, второй год никуда поступить не может и не хочет… Больше до самого восьмого этажа он никого не встретил. Но все время у него было предчувствие, что вот-вот наткнется на кого-то. Цапнут его за локоть и скажут негромко: „Одну

минуточку, гражданин…“

Слава богу, Фил был дома. И как всегда, у него был такой вид, словно он собирается в консульство Нидерландов на прием в честь прибытия ее величества и через пять минут за ним должна заехать машина. Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно дома работать в галстуке.

— Работаешь? — спросил Малянов.

— Как всегда.

— Ну, я ненадолго.

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Кофе?

— Подожди, — сказал Малянов. — А впрочем, давай.

Они отправились на кухню. Малянов сел на свой стул, а Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием.

— Я сделаю по-венски, — сказал он, не оборачиваясь.

— Валяй, — отозвался Малянов. — Сливки есть?

Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки.

— У тебя следователь был? — спросил он.

Лопатки на мгновение застыли, затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное веснушчатое лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков.

— Прости… Как ты сказал?

— Я сказал: следователь у тебя был сегодня или нет?

— Почему именно следователь? — осведомился Вечеровский.

— Потому что Снеговой застрелился, — сказал Малянов. — Ко мне уже приходили.

— Кто такой Снеговой?

— Ну, этот дядька, который напротив меня живет. Ракетчик.

— А…

Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками.

— А ты разве его не знал? — спросил Малянов. — По-моему, я вас знакомил.

— Нет, — сказал Вечеровский. — Насколько я помню, нет.

По кухне прекрасно запахло кофе. Малянов уселся поудобнее. Рассказать или не стоит? В этой сверкающей ароматной кухне, где было так

прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где всегда все стояло на своих местах и все было самого высшего качества — на мировом уровне или несколько выше, — здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными… нечистоплотными какими-то.

— Ты анекдот о двух петухах знаешь? — спросил Малянов.

— О двух петухах? Я знаю анекдот о трех петухах. Совершенно бездарный. От сохи.

— Да нет. О двух! — сказал Малянов. — Не знаешь?

И он рассказал анекдот о двух петухах. Вечеровский не отреагировал никак. Можно было подумать, что ему не анекдот рассказали, а предложили серьезную задачу, — такой у него был вид, сосредоточенный и задумчивый, когда он ставил перед Маляновым чашечку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа ее на весу, обмакнул в нее губы и проговорил наконец:

— Превосходно. Это я не о твоем анекдоте. Это я о кофе.

— Догадываюсь, — уныло сказал Малянов.

Некоторое время они молча наслаждались

кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал:

— Вчера я немного подумал над твоей задачей… Ты не пробовал применить функции Гартвига?

— Знаю, знаю, — сказал Малянов. — Сам допер.

— Получилось?

Малянов отодвинул от себя пустую чашку.

— Слушай, Фил, — сказал он. — Какие тут, к чертовой матери, функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты…»

9. «…помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу, а затем продекламировал:

— Глянуть смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели… — И добавил: — Бедняга.

Непонятно было, кого он имеет в виду.

— Нет, я все могу понять, — сказал Малянов. — Но вот этот следователь…

— Ты хочешь еще кофе? — перебил его Вечеровский.

Малянов помотал головой, и Вечеровский поднялся.

— Тогда пойдем ко мне, — сказал он.

Они перешли в кабинет. Вечеровский сел за стол — совершенно пустой, с одиноким листком бумаги посередине — вынул из ящика меха-

нический бювар, щелкнул какой-то кнопкой, пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер.

— Старшего следователя Зыкина, — произнес он вялым начальственным голосом. — Я и говорю Зыкова, Игоря Петровича… На операции? Благодарю вас. — Он положил трубку. — Старший следователь Зыков на операции, — сообщил он Малянову.

— Коньяк он мой пьет с девками, а не на операции… — проворчал Малянов.

Вечеровский покусал губу.

— Это уже неважно. Важно, что он существует.

— Конечно, существует! — сказал Малянов. — Он мне свое удостоверение показывал… Или ты думал, что это были жулики?

— Вряд ли…

— Вот и я тоже подумал. Из-за бутылки коньяка разводить такую историю… да еще рядом с опечатанной квартирой.

Вечеровский кивнул.

— А ты говоришь — функции Гартвига! — сказал Малянов укоризненно. — Какая тут может быть работа! Тут того и гляди загремишь в лагерь…

Вечеровский пристально смотрел на него ры-

жими глазами.

— Дима, — проговорил он, — а тебя не удивило, что Снеговой заинтересовался твоей работой?

— Еще бы! Сроду мы с ним о работе никогда не говорили…

— А что ты ему рассказал?

— Н-ну… в общих чертах… Он, собственно, и не настаивал на подробностях.

— И что он сказал?

— Ничего не сказал. По-моему, он был разочарован. „Где имение, а где вода“, так он выразился.

— Прости?

— „Где имение, а где вода“…

— А что, собственно, это значит?

— Это из классики откуда-то… В том смысле, что в огороде бузина, а в Киеве дядька…

— Ага… — Вечеровский задумчиво поморгал коровьими ресницами, потом взял с подоконника идеально чистую пепельницу, вынул из стола трубку с кисетом и принялся ее набивать. — Ага… „Где имение, а где вода“… Это хорошо. Надо будет запомнить.

Малянов нетерпеливо ждал. Он очень верил в него. У Вечеровского был совершенно нечеловеческий мозг. Малянов не знал другого человека, который из совокупности данных фактов был бы

способен делать столь неожиданные выводы.

— Ну? — сказал Малянов наконец.

Вечеровский уже набил свою трубку и теперь так же неторопливо и со вкусом ее раскуривал. Трубка тихонечко сипела. Вечеровский сказал, затягиваясь:

— Дима… п-п… а на сколько ты, собственно, продвинулся с четверга? Мы, кажется, в четверг… п-п… разговаривали в последний раз…

— Какое это имеет значение? — спросил Малянов с раздражением. — Мне сейчас, знаешь ли, не до этого…

Эти слова Вечеровский пропустил мимо ушей — по-прежнему смотрел на Малянова рыжими своими глазами и попыхивал трубкой. Это был Вечеровский. Он задал вопрос и теперь ждал ответа. И Малянов сдался. Он верил, что Вечеровскому виднее, что имеет значение, а что — нет.

— Неплохо я продвинулся, — сказал он и принялся рассказывать, как ему удалось переформулировать задачу и свести ее сначала к уравнениям в векторной форме, а потом к интегро-дифференциальному уравнению, как у него стала вырисовываться физическая картина, как допер он до М-полостей и как вчера сообразил наконец использовать преобразования Гартвига.

Вечеровский слушал очень внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, и только один раз, когда Малянов, увлекшись, схватил одинокий листок и попытался писать на обратной стороне, остановил его и попросил: „Словами, словами…“

— Но ничего этого я сделать уже не успел, — уныло закончил Малянов. — Потому что сначала начались дурацкие телефонные звонки, потом приперся мужик из стола заказов…

— Ты мне ничего об этом не говорил, — прервал его Вечеровский.

— Так это никакого отношения к делу не имеет, — сказал Малянов. — Пока были телефонные звонки, я еще кое-как работал, а потом заявилась эта Лидочка, и все пошло на пропасть…

Вечеровский совершенно окутался клубами и струями ароматного медвяного дыма.

— Неплохо, неплохо… — прозвучал его глуховатый голос. — Но остановился ты, как я вижу, на самом интересном месте.

— Не я остановился, а меня остановили!

— Да, — сказал Вечеровский.

Малянов ударил себя кулаками по коленям.

— Ч-черт, сейчас бы работать и работать! А я думать не могу! От каждого шороха в собственной квартире вздрагиваю… и вдобавок эта милая

перспективочка — пятнадцать лет ИТЛ…

Он уже в который раз вворачивал про эти пятнадцать лет, все ждал, что Вечеровский скажет: „Не выдумывай, какие там пятнадцать лет, это же явное недоразумение…“, — но Вечеровский и на этот раз ничего подобного не сказал. Вместо этого он принялся длинно и нудно расспрашивать Малянова о телефонных звонках: когда они начались (точно), куда звонили (ну хоть несколько конкретных примеров), кто звонил (мужчина? женщина? ребенок?). Когда Малянов рассказал ему про звонки Вайнгартена, он, по-видимому, удивился и некоторое время молчал, а потом опять принялся за свое. Что Малянов отвечал в телефон? Всегда ли подходил? Что ему сказали в бюро ремонта? Кстати, только теперь Малянов вспомнил, что после его второго звонка в бюро ремонта ошибочные вызовы прекратились… Но он даже не успел сказать об этом Вечеровскому, потому что вспомнил еще кое-что.

— Слушай, — сказал он, оживившись. — Я совсем забыл. Вайнгартен, когда звонил вчера, спрашивал, знаю ли я Снегового.

— Да?

— Да. Я сказал, что знаю.

— А он?

— А он сказал, что не знает… Не в этом дело. Что это, по-твоему, — совпадение? Или как? Странное какое-то совпадение…

Вечеровский помолчал некоторое время, попыхивая трубкой, а затем снова принялся за свое. Что это за история со столом заказов? Поподробнее… Как выглядел этот дядька? Что он говорил? Что принес? Что теперь осталось от того, что он принес?.. Этим унылым допросом он загнал Малянова в кромешную тоску, потому что Малянов не понимал, зачем это все надо и какое отношение все это имеет к его несчастьям. Потом Вечеровский наконец замолчал и принялся ковыряться в трубке. Малянов сначала ждал, а потом стал представлять себе, как за ним приходят четверо, все как один в черных очках, и шарят по квартире, и отдирают обои, и допытываются, не вступал ли он в сношения с Лидочкой, и не верят ему, а потом уводят…

Он хрустнул пальцами и с тоской пробормотал:

— Что будет? Что будет?..

Вечеровский тотчас откликнулся:

— Кто знает, что ждет нас? — сказал он. — Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо

в грядущее взор погружать…

Малянов понял, что это стихи, только потому, что Вечеровский, закончив, разразился глуховатым уханьем, которое обозначало у него довольный смех. Наверное, так же ухали уэллсовские марсиане, упиваясь человеческой кровью, и Вечеровский так ухал, когда ему нравились стихи, которые он читал. Можно было подумать, что удовольствие, которое он испытывал от хороших стихов, было чисто физиологическим.

— Иди ты к черту, — сказал ему Малянов.

И тогда Вечеровский произнес вторую тираду — на этот раз в прозе.

— Когда мне плохо, я работаю, — сказал он. — Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, — я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего совета — пожалуйста: садись работать. Слава богу, таким людям, как мы с тобой, для работы ничего не нужно кроме бумаги и карандаша…

Положим, все это Малянов знал и без него. Из книг. У Малянова все это было не так. Он мог работать только, когда на душе у него было легко и ничего над ним не висело.

— Помощи от тебя… — сказал он. — Дай-ка я

лучше Вайнгартену позвоню… Странно мне все-таки, что он спрашивал про Снегового…

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Только, если тебе не трудно, перенеси телефон в другую комнату.

Малянов взял аппарат и поволок шнур в соседнюю комнату.

— Если хочешь, оставайся у меня, — сказал ему вслед Вечеровский. — Бумага есть, карандаш я тебе дам…

— Ладно, — сказал Малянов. — Там видно будет…

Теперь Вайнгартен не отвечал. Малянов дал звонков десять, перезвонил, дал еще десяток и повесил трубку. Так. Что же теперь делать? Конечно, можно было бы остаться здесь. Здесь прохладно, тихо. В каждой комнате кондиционер. Прицепов и тормозов не слышно — окна во двор. И вдруг он понял, что дело не в этом. Ему было просто страшно возвращаться к себе. Это надо же! Больше всего на свете я люблю свой дом, и в этот дом мне страшно возвращаться. Ну, нет, подумал он. Этого вы от меня не дождетесь. Это уж пардон.

Малянов решительно сгреб аппарат и отнес его на место. Вечеровский сидел, уставясь в свой

одинокий листок, и тихонько постукивал по нему благороднейшим паркером. Листок был наполовину исписан символами, которых Малянов не понимал.

— Я пойду, Фил, — сказал Малянов.

Вечеровский поднял к нему рыжее лицо.

— Конечно… Завтра у меня экзамен, а сегодня я весь день дома. Звони или заходи…

— Хорошо, — сказал Малянов.

По лестнице он спускался неторопливо, торопиться было некуда. Сейчас заварю чайку покрепче, сяду на кухне, Калям вспрыгнет мне на колени, я буду гладить его, прихлебывать чай и попробую наконец трезво и спокойно все это продумать… Жаль, телевизора нет, посидеть бы вечерок перед ящиком, посмотреть что-нибудь бездумное… комедию какую-нибудь или футбол… Пасьянсик разложу, что-то давно я пасьянсов не раскладывал…

Он спустился на свою лестничную площадку, нащупывая в кармане ключи, повернул за угол и остановился. Так. Сердце его провалилось куда-то в желудок и принялось там стучать медленно, размеренно, как свайная баба. Та-ак… Дверь квартиры была приоткрыта.

Он на цыпочках подкрался к двери и прислу-

шался. В квартире кто-то был. Бубнил незнакомый мужской голос и что-то отвечал незнакомый детский голос…»

5

10. «…сидел на корточках незнакомый мужчина и подбирал осколки разбитой рюмки. Кроме того, на кухне был еще мальчик лет пяти. Сидел на табуретке за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки.

— Слушай, отец! — возбужденно закричал Вайнгартен, увидев Малянова. — Где ты пропадаешь?

Огромные щеки его пылали лиловым румянцем, черные, как маслины, глаза блестели, жесткие смоляные волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имела место наполовину опорожненная бутылка экспортной „Столичной“ и всякие яства из стола заказов.

— Успокойся и не переживай, — продолжал Вайнгартен. — Икру мы не тронули. Тебя ждали.

Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался.

— Так-так-так! — произнес Малянов, вступая в кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. — Мой дом — моя крепость, так это называется?

— Взятая штурмом, отец, взятая штурмом! — заорал Вайнгартен. — Слушай, откуда у тебя такая водка? И жратва?

Малянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку, но в ней были зажаты осколки. Возникла маленькая приятная неловкость.

— Мы тут без вас нахозяйничали… — сказал он сконфуженно. — Это я виноват…

— Чепуха, чепуха, вот сюда давайте, в ведро…

— Дядя — трус, — произнес вдруг мальчик отчетливо.

Малянов вздрогнул. И все тоже вздрогнули.

— Ну-ну, тише… — произнес красавец и как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем.

— Дитя! — сказал Вайнгартен. — Ведь тебе дали шоколад. Сиди и харчись. Не встревай.

— Почему же это я трус? — спросил Малянов, усаживаясь. — Зачем это ты меня обижаешь?

— А я тебя не обижаю, — возразил мальчик, разглядывая Малянова как какое-то редкостное животное. — Я тебя назвал…

Между тем красавец освободился от осколков,

вытер ладонь носовым платком и протянул мне руку.

— Захар, — представился он.

Мы обменялись церемонным рукопожатием.

— За дело, за дело! — хлопотливо произнес Вайнгартен, потирая руки. — Тащи еще две рюмки…

— Слушайте, ребята, — сказал Малянов. — Я водку пить не буду.

— Вино пей, — согласился Вайнгартен. — Там у тебя еще две бутылки белого…

— Нет, я лучше коньяку. Захар, достаньте там, пожалуйста, в холодильнике, икру и масло… и вообще все, что там есть. Жрать хочется.

Малянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык креслу, в котором давеча сидел Игорь Петрович, и вернулся к столу. Стол ломился от яств. Наемся и напьюсь, подумал я с веселой яростью. Молодцы ребята, что приехали…

Но все получилось не так, как я думал. Едва мы выпили и я принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой, как Вайнгартен совершенно трезвым голосом сказал:

— А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло.

Малянов поперхнулся.

— Откуда ты взял?..

— Вот что, — сказал Вайнгартен, переставши сиять как масляный блин. — Нас здесь трое, и с каждым из нас кое-что произошло. Так что не стесняйся. Что тебе сказал этот рыжий?

— Вечеровский?

— Да нет, при чем здесь Вечеровский? К тебе явился маленький огненно-рыжий человечек в этаком удушливо-черном костюме. Что он тебе сказал?

Малянов откусил от бутерброда сколько в рот влезло и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Захар смотрел смущенно, робко улыбаясь, то и дело отводя взгляд. Вайнгартен бешено выкатывал глаза, готовясь заорать. А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Малянову, словно хотел в рот ему вскочить.

— Ребята, — сказал Малянов наконец. — Какие там рыжие? Никакие рыжие ко мне не приходили. У меня все было гораздо хуже.

— Ну, давай, давай, рассказывай, — нетерпеливо сказал Вайнгартен.

— Почему это я должен рассказывать? — возмутился Малянов. — Я из этого никакого секрета не делаю, но чего ты тут передо мной разыгры-

ваешь? Сам рассказывай! Откуда, интересно, ты узнал, что со мной вообще что-то случилось?

— Вот расскажи, а потом и я тебе расскажу, — упорно сказал Вайнгартен. — И Захар расскажет.

— Вот вы и давайте оба и рассказывайте, — проговорил Малянов, нервно намазывая себе новый бутерброд. — Вас двое, а я один…

— Ты рассказывай, — приказал вдруг мальчик, ткнув в сторону Малянова пальцем.

— Тише, тише… — прошептал Захар, совсем застеснявшись.

Вайнгартен невесело хохотнул.

— Это ваш? — спросил Малянов Захара.

— Да вроде мой… — странно ответил Захар, отводя глаза.

— Его, его, — сказал Вайнгартен нетерпеливо. — Между прочим, это как раз часть его рассказа. Ну, Митька, давай… не ломайся…

Совсем они сбили Малянова с панталыку. Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков. Когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз на протяжении каких-нибудь двух часов, поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Малянов и сам заметил, как разошелся. Вайнгартен то и дело всхохатывал, обнажая мо-

гучие желтоватые клыки, а Малянов прямо-таки целью жизни своей положил заставить засмеяться красавца Захара, но это ему так и не удалось — Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Малянов дошел до самоубийства Снегового, стало и вообще не до смеха.

— Врешь! — хрипло выдохнул Вайнгартен.

Малянов дернул плечом.

— За что купил… — сказал он. — А дверь у него опечатана, можешь пойти посмотреть…

Некоторое время Вайнгартен молчал, постукивая по столу толстыми пальцами и подрагивая в такт щеками, а потом вдруг с шумом поднялся, ни на кого не глядя, протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок, в квартиру потянуло щами.

— Охо-хо-хо-хо… — уныло произнес Захар.

И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку и потребовал:

— Откуси!

Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь, Вайнгартен, по-прежнему ни на кого не глядя, протиснулся на свое место и, плеснув себе в рюмку водки, хрипло буркнул:

— Дальше…

— Что — дальше? Дальше я пошел к Вечеров-

скому… Эти хмыри ушли, и я пошел… Вот только что вернулся.

— А рыжий? — спросил Вайнгартен нетерпеливо.

— Я же тебе говорю, ослиная твоя башка! Не было никаких рыжих!

Вайнгартен и Захар переглянулись.

— Ну, предположим, — сказал Вайнгартен. — А девица эта твоя… Лидочка… Она тебе никаких предложений не делала?

— Н-ну… как тебе сказать… — Малянов неловко ухмыльнулся. — То есть… если бы я по-настоящему захотел…

— Тьфу, болван! Да я не об этом!.. Ну, ладно. А следователь?

— Знаешь что, Валька, — сказал Малянов. — Я тебе все рассказал, как было. Иди к черту! Честное слово, третий допрос за день…

— Валя, — нерешительно вмешался Захар, — а может быть, тут действительно что-нибудь другое?

— Брось, отец! — Вайнгартен весь перекосился. — Как это — другое? У него работа, работать не дают… Как это — другое? И потом, мне же его назвали!..

— Кто это меня назвал? — спросил Малянов,

предчувствуя новые неприятности.

— Писать хочу, — ясным голосом объявил мальчик.

Все уставились на него. А он оглядел всех по очереди, сполз с табурета и сказал Захару:

— Пойдем.

Захар виновато улыбнулся, сказал: „Ну, пойдем…“, и они скрылись в сортире. Было слышно, как они гонят рассевшегося в унитазе Каляма.

— Кто это меня назвал? — сказал Малянов Вайнгартену. — Что еще за новости?

Вайнгартен, склонив голову, прислушался к тому, что происходит в сортире.

— Во Губарь влип! — произнес он с каким-то печальным удовлетворением.

— Вот влип так влип!

Что-то вязко повернулось в мозгу у Малянова.

— Губарь?

— Ну да. Захар. Знаешь, сколько веревочке не виться…

Малянов вспомнил.

— Он ракетчик?

— Кто? Захар? — Вайнгартен удивился. — Да нет, вряд ли… Хотя вообще-то он работает в каком-то ящике…

— Он не военный?

— Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной…

— Я про Губаря спрашиваю.

— Да нет. Он — мастеровой, золотые руки. Блох мастерит с электронным управлением… Но беда не в этом. Беда в том, что он — человек, который бережно и обстоятельно относится к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем заметь, отец, это истинная правда..

Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Малянов сказал ему:

— Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил… Ведь о вас Снеговой спрашивал…

И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах. То есть делается белым, буквально как бумага.

— Обо мне? — спросил Захар одними губами.

— Да вот… вчера вечером… — Малянов испугался. Такой реакции он все-таки не ожидал.

— Ты что, его знал? — спросил Вайнгартен Захара негромко.

Захар молча помотал головой, полез за сигаретой, высыпал полпачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крякнул, пробормотал: „Это дело надо того, отцы…“ — и принялся разливать. И тут мальчик

сказал:

— Подумаешь! Это еще ничего не значит.

Малянов опять вздрогнул, а Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли.

— Это просто случайность, — продолжал мальчик. — Вы телефонную книгу посмотрите, там этих Губарей штук восемь...»

11. «... Малянов знал с шестого класса. В седьмом они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами, он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный, всегда он что-то коллекционировал — то марки, то монеты, то почтовые штемпеля, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставши биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовьи, а Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие, девятого века. Вечно он приставал к окружающим, требуя мелочь, — искал какие-то особенные медяки. И вечно он хватал чужие письма, клянчил конверты с печатями.

И при всем при том дело свое он знал. У себя в ИЗРАНе он давно уже был старшим, числил-

ся членом двадцати разнообразных комиссий, как союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без пяти минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. Сто раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. И всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще, самые обычные житейские события превращались у него в драмы а-ля Грэм Грин. Или, скажем, Ле Карре. Но врал он, как это ни странно, очень редко и ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила, непонятно за что, тут была какая-то тайна. Было у Малянова подозрение, что в молодые годы, когда Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья, ну и что-то у них там не вышло. Вообще насчет клиньев он был мастак, но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый как к победам, так и к поражениям мастак. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к мелан-

холии, давно махнула на него рукой, тем более он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться, ходить с ним в ресторан было сущим наказанием… Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений.

Странные события с ним начались, оказывается, еще две недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства („Вы этого, отцы, понять не можете, это связано с обратной транскриптазой, она же РНК-зависимая ДНК-полимераза, она же просто ревертаза, это такой фермент в составе онкорн-вирусов, и это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет нобелевкой…“) В лаборатории Вайнгартена кроме него самого никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было „до лампочки“, а отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время между тем летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик — обиды, местком, партбюро. И в разгар этого скандальчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть

такое мнение: назначить товарища Вайнгартена Валентина Артуровича директором новейшего супермодернового биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове.

От этого сообщения голова Вайнгартена В. А. пошла кругом, но он тем не менее сообразил, что такое директорство, во-первых, пока еще журавль в небе, а когда и если превратится в синицу в руках, то, то-вторых, вышибет Вайнгартена В. А. из творческой работы по крайней мере года на полтора, а то и на два. В то время как нобелевка, отцы, это нобелевка.

Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику. Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик и, расспросив о текущей работе („Я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан…“), предложил ему оставить эту сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народнохозяйственное значение, а потому сулящей неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой.

Ошеломленный всеми этими ни с того ни с

сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность похвастаться дома, да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет кавторангом, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке. И небо над ним потемнело. („Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все…“) А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на-гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу, и, улаживая дело о наследстве, Вайнгартен обнаружил на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в шестьдесят первом году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить: как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилящим речам кавторанга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О, великолепные! Но дело было не в этом.

Когда, покончив с монетами, он вернулся в

лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Конечно, оставалась еще масса неясного, конечно, все это надлежало еще оформить — тоже, между прочим, работа немаленькая, — но сомнений больше не было, открытие вылупилось. Вайнгартен закрутился как белка в колесе. Он разом покончил со всеми скандалами в лаборатории, („Отцы, выгнал всех в отпуск к чертовой матери!..“), он в двадцать четыре часа вывез кавторанга с девчонками на дачу, отменил все встречи и все свидания и только было засел дома для нанесения последнего решающего удара, как наступил позавчерашний день.

Позавчера, едва Вайнгартен принялся за работу, в квартире объявился этот самый рыжий — маленький медно-красный человечек с очень бледным личиком, втиснутый в наглухо застегнутый черный костюм какого-то древнего покроя. Он вышел из детской и, пока Валька беззвучно открывал и закрывал рот, ловко присел перед ним на край стола и начал говорить. Без всяких предисловий он объявил, что некая внеземная цивилизация уже давно внимательно и с беспокойством следит за его, Вайнгартена В. А., научной деятельностью. Что последняя работа упомянутого Вайнгартена вызывает у них особую

тревогу. Что он, рыжий человечек, уполномочен предложить Вайнгартену В. А. немедленно свернуть упомянутую работу, а все материалы по ней уничтожить.

Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем, объявил рыжий человечек. Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Вам ни в коем случае не следует заблуждаться, будто предложение вам поста директора, другой перспективной темы, находка ящика с монетами и даже пресловутый скандальчик в вашей лаборатории являются событиями случайными. Мы пытались остановить вас. Однако, поскольку удалось вас только притормозить, и то ненадолго, мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все сделанные вам предложения остаются в силе, и вы вольны принять любое из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того, в этом, последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, вполне понятные желания, проистекающие из слабостей, свойственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам этот небольшой презент…

С этими словами рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартеном толстый пакет, как выяснилось впоследствии — набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может.

Вайнгартен, продолжал рыжий человечек, ни в коем случае не должен полагать, что он является единственным землянином, оказавшимся в сфере внимания сверхцивилизации. Среди знакомых Вайнгартена есть по крайней мере три человека, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению. Он, рыжий человечек, может назвать такие имена, как Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захар Захарович, инженер, и Снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартену В. А. давалось на обдумывание трое суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие „меры третьей степени“.

— Пока он мне все это излагал, — говорил Вайнгартен страшно тараща глазами и выпячивая челюсть, — я, отцы, думал только об одном: как этот гад проник в квартиру без ключа. Тем более,

что дверь у меня была на задвижке… Неужели, думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю… Но пока я все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и… — Вайнгартен сделал эффектную паузу.

— Вылетел в окно… — сказал Малянов сквозь зубы.

— Вот тебе! — Вайнгартен, не стесняясь ребенка, сделал малопристойный жест. — Никуда он не вылетел. Он просто исчез.

— Валька… — сказал Малянов.

— Я тебе говорю, отец! Вот так он сидел передо мной на столе… я как раз примерялся въехать ему по сопатке, не вставая… и вдруг его нет! Как в кино, знаешь? — Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. — Моам? — сказал он. — Моам муам?.. — Он с усилием проглотил и, моргая заслезившимися глазами, продолжал: — Это я, отцы, сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как поросячий хвост… Думал, прямо тут же и помру… Никогда со мной такого не бывало. Добрался кое-как до тещиной комнаты, хватил валерьянки — не помогает.

Смотрю — у нее бром стоит. Я брому хватил…»

12. «…фальшивки, — сказал Малянов наконец. Вайнгартен презрительно молчал. — Ну, тогда новоделы…

— Дурак ты, — сказал Вайнгартен коротко и спрятал книжку.

Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову: если бы все это было враньем, или даже *просто правдой*, а не *страшной правдой*, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки, а уже потом развел бы вокруг них более или менее достоверный треп.

— Ну и что теперь? — спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается.

Никто ему не ответил. Вайнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней рольмопсиной. Губарь тупо следил, как его странный сын сосредоточенно, с очень серьезным бледным лицом играет рюмками. Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже безо всяких шуточек, словно бы устало, едва шевеля губами. Как он кинулся звонить Губарю, а Губарь не отвечал; как он позвонил Малянову, и ему стало ясно, что Снеговой действительно существует на свете; как он перепугался, когда Малянов ушел открывать Лидочке и долго не брал трубку; как

он позвонил Малянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли, а потом к нему пришел Губарь со своими неприятностями…»

6

13. «…узнал о Губаре, что он с детства был большой лентяй и прогульщик. И с тех же пор был сексуально озабочен. Десятилетку он не окончил, ушел из девятого класса, работал санитаром, потом шофером на дерьмовозе, потом лаборантом в ИЗРАНе, где и познакомился с Валькой, а сейчас работает в ящике над каким-то гигантским, очень секретным проектом, связанным с обороной. Специального образования Захар никогда никакого не получал, но с детства страстно увлекался радиолюбительством, электронику чувствовал душой, спинным мозгом, и в ящике своем очень круто пошел вверх, хотя отсутствие диплома мешало ему страшно.

Он запатентовал несколько изобретений, и сейчас у него два или три были в работе, и он решительно не знает, из-за какого из них у него начались эти неприятности. Предполагает, что из-за прошлогоднего — что-то он там изобрел, связанное с „полезным использованием феддингов“. Предполагает, но не уверен.

Впрочем, главным стержнем его жизни всегда

были женщины. Они липли к нему, как мухи. А когда они к нему почему-то переставали липнуть, он начинал к ним липнуть сам. Он уже был однажды женат, вынес из этого брака самые неприятные воспоминания и многочисленные уроки и с тех пор соблюдает в этом вопросе чрезвычайную осторожность. Короче говоря, бабник он был фантастический, и по сравнению с ним Вайнгартен, скажем, выглядел аскетом, анахоретом и стоиком. Но при всем том он никак не был грязным типом. К женщинам своим он относился с уважением и даже с восхищением и, по всей видимости, рассматривал себя всего лишь как скромный источник удовольствия для них. Никогда он не заводил двух возлюбленных одновременно, никогда не впутывался ни в склоки, ни в скандалы, никогда, по-видимому, никого из женщин не обижал. Так что в этой области у него со времени неудачной женитьбы все обстояло благополучно. До самого последнего времени.

Сам он считает, что неприятности, связанные с пришельцами, начались у него с появлением какой-то гнусной сыпи на ногах. С этой сыпью он сразу же побежал к врачу, потому что всегда тщательно следил за своим здоровьем, отношение к болезням у него было европейское. Врач его

успокоил, дал какие-то пилюли, сыпь прошла, но началось нашествие женщин. Они шли к нему косяками — все женщины, с которыми он когда-либо имел дело. Они толклись у него в квартире по-двое, по-трое, а в течении одного страшного дня их было даже пятеро одновременно. Причем, он решительно не мог понять, чего они от него хотят. Более того, у него создалось впечатление, что они и сами этого не знают. Они ругали и поносили его, они валялись у него в ногах, выпрашивая что-то непонятное, они дрались между собой как бешеные кошки, они перебили у него всю посуду, раскололи голубую японскую мойку, попортили мебель. Они закатывали истерики, они пытались травиться, некоторые угрожали отравить его. А ведь многие из них давным-давно уже были замужем, любили своих мужей и детей, и мужья тоже приходили к Губарю и тоже вели себя непонятно. (В этой части своего рассказа Губарь был особенно невнятен.) Короче говоря, жизнь его превратилась в кромешный ад, он потерял шесть кило веса, его закидало сыпью теперь уже по всему телу, о работе не могло быть никакой речи, и он оказался вынужден взять отпуск за свой счет, хотя сидел кругом в долгах. (В первые дни он пытался укрыться от нашествия в своем ящике,

но очень быстро понял, что такой образ действия приведет только к невероятной огласке всех его чисто личных неприятностей. Здесь он тоже был достаточно невнятен.) Этот кромешный ад длился без перерыва десять дней и вдруг прекратился позавчера. Он только-только сдал с рук на руки какую-то несчастную ее мужу, мрачному сержанту милиции, как заявилась вдруг женщина с ребенком. Он помнил эту женщину. Лет шесть назад он познакомился с нею при следующих обстоятельствах. Они ехали в переполненном автобусе и оказались рядом. Он посмотрел на нее, и она ему понравилась. Простите, сказал он, нет ли у вас листочка бумаги и карандаша? Да, пожалуйста, ответила она, извлекая просимое из сумочки. Огромное вам спасибо, сказал он. А теперь напишите, ради бога, ваш телефон и как вас зовут... Они очень мило провели время на Рижском взморье и как-то незаметно расстались, казалось бы, с тем, чтобы больше не встречаться, довольные друг другом и не имеющие друг к другу претензий.

И вот теперь она явилась к нему, и привела этого мальчика, и сказала, что это его сын. Она уже три года была замужем за очень хорошим и, мало того, за очень известным человеком, кото-

рого беззаветно любила и уважала. Она не могла объяснить Губарю, зачем она пришла. Она плакала всякий раз, когда он пытался это выяснить. Она ломала руки, и видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным. Но она не уходила. Эти сутки, которые она провела у Губаря в его разгромленной квартире, были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя как сомнамбула, она все время говорила что-то, и Губарь понимал отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Она за руку вытащила Губаря из постели, привела его в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно непонятные вещи.

По ее словам (в интерпретации Губаря) получалось, что с древнейших времен существует на Земле некий тайный полумистический Союз Девяти. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долгоживущие, то ли вообще бессмертные, и занимаются они двумя вещами: во-первых, они копят и осваивают все достижения всех без исключения наук на нашей планете, а во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические новинки не преврати-

лись у людей в орудие самоистребления. Они, эти мудрецы, почти всеведущи и практически всемогущи. Укрыться от них невозможно, секретов для них не существует, бороться против них не имеет никакого смысла. И вот этот-то самый Союз Девяти взялся сейчас за Захара Губаря. Почему именно за него — она не знает. Что Губарю теперь делать — она тоже не знает. Об этом он должен догадаться сам. Она знает только, что все последние неприятности Губаря — это предупреждение. И она сама тоже послана как предупреждение. А чтобы Захар помнил об этом предупреждении, ей приказано оставить при нем мальчика. Кто ей приказал — она не знает. Она вообще больше ничего не знает. И не хочет знать. Она хочет только, чтобы с мальчиком не случилось ничего плохого. Она умоляет Губаря не сопротивляться, пусть Губарь двадцать раз подумает, прежде чем решится что-нибудь предпринять. А сейчас она должна идти.

Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла, и Губарь остался с мальчиком. Один на один. Что там у них было до трех часов дня, он рассказать не пожелал. Что-то было. (Мальчик по этому поводу выразился кратко: „Чего там, я ему вогнал ума, куда следует…“) В три часа Губарь не

выдержал и в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вайнгартену, своему самому близкому и уважаемому другу.

— Я так ничего и не понял, — признался он в заключение. — Я вот Валю послушал, вас выслушал, Митя… Все равно ничего не понимаю. Не увязывается это как-то… и не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь такой жары, говорят, двести пятьдесят лет не было. Вот и сошли все с ума, каждый по-своему… и мы может быть…

— Ты подожди, Захар! — с тоской сказал Вайнгартен, досадливо морщась. — Ты — человек конкретный, ты лучше со своими гипотезами пока не лезь…

— Да что там гипотезы! — с тоской сказал Губарь. — Мне без всяких гипотез ясно, что ничего мы здесь с вами не придумаем. Заявить надо куда следует, вот что я вам скажу…

Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе.

— И куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях? Ну-с?

— Откуда я знаю? — сказал Губарь уныло. — Должны же быть какие-то организации… В органы, например, надо заявить.

Тут мальчик отчетливо хихикнул, и Губарь замолчал. Малянов представил себе, как Вайн-

гартен приходит куда следует и рассказывает вдумчивому следователю свою былину о рыжем карлике в удушливо-черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядел тоже достаточно забавно. А что касается самого Малянова…

— Нет, ребята, — сказал он. — Вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах, а я как-никак последний, кто его видел живым… И вообще, мне ходить незачем — за мной, кажется, и сами придут.

Вайнгартен сейчас же налил ему рюмку коньяка и Малянов выпил ее залпом, не почувствовав никакого вкуса. Вайнгартен сказал со вздохом:

— Да, отцы. Советоваться нам не с кем. Тут того и гляди в психушку угодишь. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька. У тебя голова ясная. Давай, излагай.

Малянов потер пальцами лоб.

— Голова у меня на самом деле как пробкой набита, — проговорил он. — Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю: тебе прямо сказали — сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь…

— Правильно! — прервал его Вайнгартен. — Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не

по душе. Вопрос: кому? Имей наблюдение: ко мне приходит пришелец, — Вайнгартен стал загибать пальцы. — К Захару — агент Союза Девяти… Кстати, ты слыхал про Союз Девяти? У меня лично в памяти что-то крутится, где-то я об этом читал, но где… совершенно не помню. Так. К тебе вообще никто не приходит… То есть приходят, конечно, но в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод?

— Ну? — сказал Малянов мрачно.

— Отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов, а есть нечто третье, какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги…

— Ерунда все это, — сказал Малянов. — Бред и бред. Не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня — звезды в газопылевом облаке. У тебя — эта самая ревертаза. А у Захара и вовсе — техническая электроника. — Он вдруг вспомнил. — И Снеговой про это говорил… Знаешь, что он сказал? Где, сказал, имение, а где — вода… Я только теперь понял, что он имел в виду. Это, значит, он, бедняга, тоже над этим голову ломал… Или, может быть, по-твоему, здесь три разных силы действуют? — ядовито спросил он.

— Нет, отец, ты подожди! — сказал Вайнгартен с напором. — Ты не торопись!

У него был такой вид, словно он давно уже во всем разобрался и сейчас все окончательно разъяснит, если, конечно, его не будут перебивать и вообще мешать ему. Но он ничего не разъяснил — замолчал и уставился выпученными глазами в пустую банку из-под рольмопса.

Все молчали. Потом Губарь сказал тихо:

— А я вот все о Снеговом… Это ведь надо же… Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить. А как он мог прекратить? Он же был человек военный… у него тема…

— Писать хочу! — объявил странный мальчик и, когда Губарь со вздохом повел его в сортир, добавил на весь дом: — И какать!

— Нет, отец, ты не торопись… — снова вдруг заговорил Вайнгартен. — Ты себе представь на минуту, что есть на Земле группа существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют… Пусть это будет хотя бы тот же самый Союз Девяти… Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой. Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще сто человек голову себе ломают, как и мы… А по всей Земле — сто тысяч. И как мы, боятся признаться… Кто боится, кто стыдится… А кому, наоборот, это и по душе

пришлось! Лакомые ведь кусочки подбрасываются-то…

— Мне лакомых кусочков не подбрасывали, — сказал Малянов угрюмо.

— И тоже не случайно! Ты ведь болван, бессребреник… Ты даже сунуть на лапу кому следует не умеешь… Для тебя весь мир полон непреодолимых препятствий! В ресторане все столики заняты — препятствие. За билетами очередь — препятствие… Женщину твою кто-нибудь клеит…

— Ну ладно, хватит! Поехал проповеди читать…

— Не-ет! — сказал Вайнгартен, охотно прекратив проповедь. — Ты это брось, отец. Все это вполне разумные предположения. Мощь у них, правда, получается необычайная, фантастическая… но ведь есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение… может быть, даже, черт возьми, телепатическое внушение! Нет, отец, ты представь себе: существует на земле раса — древняя, разумная, может быть, и вовсе даже не человеческая — соперники наши. Вот они ждали, терпели, собирали информацию, готовились. И сейчас решили нанести удар. Заметь, не открытой атакой, а гораздо умнее. Они понимают, что

трупы горами наваливать — вздор, варварство, да и опасно это для них же самих. Вот они и решили — осторожно, скальпелем, по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял?

Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу, захотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх. И не просто страх, а Черный Страх. Беги отсюда! Спасайся! Брось все, скройся, заройся, затони… „Ну, ты! — прикрикнул он на себя. — Опомнись, идиот! Нельзя так — пропадешь…“ И он сказал с усилием:

— Понял. Чушь собачья.

— Почему — чушь?

— Потому что это сказочка… — Голос у него сделался хриплый и он откашлялся. — Для детей старшего возраста. Напиши роман и отнеси в „Костер“. Чтобы в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил…

— Так, — сказал Вайнгартен очень спокойно. — События с нами имели место?

— Ну, имели.

— События фантастические?

— Ну, предположим, фантастические.

— Так как же ты, отец, фантастические события

хочешь объяснить без фантастических гипотез?

— А я про это ничего не знаю, — сказал Малянов. — Это у вас события фантастические. А вы, может, вторую неделю запоем пьете… У меня никаких фантастических событий не было. Я непьющий…

Тут Вайнгартен налился кровью, ударил кулаком по столу и заорал, что Малянов, черт возьми, должен им верить, что если мы, черт возьми, друг другу не будем верить, тогда вообще все к черту пойдет! У этих гадов, может быть, весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить, что мы с ними окажемся каждый сам по себе, и они будут из нас веревки вить как захотят!..

Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про Черный Страх как-то забыл. Ну, ладно, говорил он. Ну, брось ты, что ты разоряешься, бормотал он, ну, сболтнул, ну, извини, каялся он. Губарь, вернувшийся из уборной, смотрел на них со страхом.

Наоравшись, Вайнгартен вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо из горлышка. Пузырящаяся вода текла по его щетинистым толстым щекам и мгновенно проступала потом на лбу и на голых волосатых плечах.

— Я ведь, собственно, что имел в виду? — сказал Малянов примирительно. — Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснить невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления, знаешь? Так вот до чего угодно договориться можно…

— Предложи что-нибудь другое, — непримиримо сказал Вайнгартен, засовывая пустую бутылку под стол.

— Не могу. Мог бы — предложил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами.

— Какими, например?

— Ну, я не знаю… Ну, тебя отравить тухлыми консервами… Захара… ну, я не знаю… ну, током долбануть в тысячу вольт… заразить чем-нибудь… Да и вообще зачем все эти смертоубийства, ужасы? Если уж они такие всемогущие телепаты, ну, внушили бы нам, что мы все забыли дальше арифметики. Или, скажем, выработали у нас условный рефлекс: как мы сядем за работу, так у нас понос… или грипп — сопли текут, башка трещит… Экзема… Мало ли что… Все тихо, мирно, никто бы ничего и не заметил…

Вайнгартен только и ждал, когда я кончу.

— Вот что, Митька, — сказал он. — Ты должен понять одну вещь…

Но Захар не дал ему договорить.

— Одну минуточку! — умоляюще сказал он, растопыривая руки, словно желая развести Малянова с Вайнгартеном по разным углам. — Дайте мне, пока я вспомнил!.. Ну, подожди, Валя, дай мне сказать! Это насчет головной боли… Митя, вы же сказали… Понимаете, лежал я в прошлом году в больнице…

Одним словом, лежал он в прошлом году в больнице, в академичке, потому что у него обнаружилось что-то там такое с кровью, и познакомился он в палате с неким Глуховым Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в предынфарктном состоянии, но это все неважно. А важно то, что они вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще два месяца назад этот самый Глухов пожаловался Губарю, что огромная его, Глухова, работа, для которой он материал набирал чуть ли не десять лет, идет сейчас коту под хвост из-за очень странной идиосинкразии, которая у Глухова вдруг обнаружилась. А именно: стоило Глухову сесть писать это самое исследование, как у него начинала

зверски болеть голова, до рвоты, до обмороков…

— Причем он вполне мог о своей работе думать, — продолжал Захар, — читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог… впрочем, этого я не помню, врать не буду… Но вот писать — это было невозможно. Я вот сейчас после ваших, Митя, слов…

— Адрес его знаешь? — отрывисто спросил Вайнгартен.

— Знаю.

— Телефон у него есть?

— Есть… Знаю…

— Давай, вызывай его сюда. Это наш человек.

Малянов подскочил.

— Иди ты к черту! — сказал он. — Ты с ума сошел. Неудобно же! Может, у него просто болезнь такая…

— У всех у нас эта болезнь, — сказал Вайнгартен.

— Валька, он же востоковед! Он вообще из другой оперы!

— Из той же, отец. Уверяю тебя, из той же самой оперы!

— Да нет, не надо! — сопротивлялся Малянов. — Захар, сидите, не слушайте его… Насосался как зюзя…

Страшно и невозможно было представить себе, как приходит в эту жаркую прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия, страха и алкоголя.

— Давайте лучше вот что сделаем, — убеждал Малянов. — Давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы!

Вайнгартен не возражал и против Вечеровского. Правильно, говорил он. Насчет Вечеровского — это идея. Вечеровский — башка! Захар, иди звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним…

Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит. Но против Вайнгартена не попрешь. Захар отправился звонить к Глухову, и мальчик сейчас же слез с табурета и, как приклеенный, последовал за ним…»

7

14. «…сын Захара, устроившись на тахте в углу, время от времени принимался услаждать общество чтением избранных мест из популярной медицинской энциклопедии, которую Малянов подсунул ему второпях по ошибке. Вечеровский, особенно элегантный по контрасту с потным и расхлюстанным Вайнгартеном, с любопытством слушал и разглядывал странного мальчика, высоко задирая рыжие брови. Он еще почти ничего не сказал по существу — задал несколько вопросов, показавшихся Малянову (да и не только одному Малянову) нелепыми. Например, он ни с того, ни с сего спросил Захара, часто ли Захар конфликтует с начальством, а Глухова — любит ли тот сидеть у телевизора. (Выяснилось, что Захар вообще никогда ни с кем не конфликтует, такой уж у него характер, и что Глухов у телевизора сидеть, да, любит, и даже не просто любит, а предпочитает.) Малянову Глухов очень понравился. Вообще-то Малянов не любил новых людей в старых компаниях, ему всегда было страшно, что они начнут себя вести как-нибудь не так и за них

будет неловко. Но с Глуховым оказалось все в порядке. Был он какой-то удивительно уютный и невредный — маленький, тощенький, курносый, с красноватыми глазками за сильными большими очками. По приходе он с удовольствием выпил предложенный Вайнгартеном стаканчик водки и заметно огорчился, узнав, что это последний. Когда его подвергли перекрестному допросу, он выслушал каждого очень внимательно, по-профессорски склонив голову к правому плечу и скосив глаза направо же. Нет-нет, отвечал он, как бы извиняясь. Нет, ничего подобного со мной не было. Помилуйте, я даже представить себе такого не могу…. Тема? Боюсь, очень далекая от вас: „Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа“… Да, по-видимому, какая-то идиосинкразия, я говорил с крупными медиками — случай, по их словам, редчайший… В общем, с Глуховым, по-видимому, получился пустой номер, но все равно, хорошо было, что он здесь. Он был какой-то очень от мира сего: с аппетитом выпил и хотел еще, с детским удовольствием ел икру, чай предпочитал цейлонский, а читать больше всего любил детективы. На странного Захарова мальчика он смотрел с опасливым недоумением, время

от времени неуверенно посмеиваясь, бредовые рассказы выслушал с огромным сочувствием, то и дело принимался чесать обеими руками у себя за ушами, бормоча: „Да, это поразительно… Невероятно!..“ Словом, с Глуховым все было Малянову ясно. Ни новой информации от него, ни, тем более, советов ждать не приходилось.

Вайнгартен, как всегда в присутствии Вечеровского, несколько уменьшился в объеме. Он даже стал как-то приличнее выглядеть, не орал больше и никого не называл отцами и стариками. Впрочем, последние зерна черной икры сожрал все-таки он.

Захар вообще не говорил ни слова, если не считать коротких ответов на неожиданные вопросы Вечеровского. Даже историю его собственных злоключений ему не пришлось рассказывать — за него рассказал Вайнгартен. И странного своего сына он перестал увещевать вовсе и только болезненно улыбался, выслушивая назидательные цитаты о болезнях разных деликатных органов.

И вот они сидели и молчали. Прихлебывали остывший чай. Курили. Горело расплавленное золото окон в Доме быта, серпик молодой луны висел в темно-синем небе, с улицы доносилось сухое отчетливое потрескивание, — должно

быть, опять жгли старые ящики. Вайнгартен зашуршал сигаретной пачкой, заглянул в нее, смял и спросил вполголоса: „Сигареты у кого есть еще?“ „Вот, пожалуйста…“ — торопливо и тоже вполголоса отозвался Захар. Глухов кашлянул и позвенел ложечкой в стакане.

Малянов посмотрел на Вечеровского. Тот сидел в кресле, вытянув и скрестив ноги, и внимательно изучал ногти на правой руке. Малянов посмотрел на Вайнгартена. Вайнгартен раскуривал сигарету и поверх огонька смотрел на Вечеровского. И Захар смотрел на Вечеровского. И Глухов. Малянову вдруг стало смешно. Елки-палки, а чего мы, собственно, от него ждем? Ну, математик. Ну, крупный математик. Ну, допустим даже, очень крупный математик — мировая величина. Ну и что? Как дети, ей-богу. Заблудились в лесу и с надеждой моргают на дядю: уж он-то нас выведет.

— Вот, собственно, и все соображения, которые у нас имеются, — плавно произнес Вайнгартен. — Как видите, наметились по крайней мере две позиции… — Он говорил, обращаясь как бы ко всем, но смотрел при этом только на Вечеровского. — Митька считает, что следует все это пытаться объяснить в рамках известных нам явлений природы… Я же полагаю, что мы имеем

дело с вмешательством совершенно неизвестных нам сил. Так сказать, подобное — подобным, фантастическое — фантастическим…

Эта тирада прозвучала невероятно напыщенно. Ведь нет, чтобы просто и честно сказать: дядя, голубчик, заблудились, выведи… Нет, ему, понимаете, резюме нужно, мы-де и сами не лыком шиты… Ну и сиди теперь, как дурак. Малянов взял чайник и пошел от Валькиного срама на кухню. Он не слышал, о чем шла речь, пока наливал воду и ставил чайник на газ. Когда он вернулся, Вечеровский неторопливо говорил, внимательно разглядывая ногти теперь уже на левой руке:

— …И поэтому я склоняюсь все-таки к вашей точке зрения, Валя. Действительно, фантастическое, по-видимому, надлежит объяснить фантастическим. Я полагаю, что все вы оказались в сфере внимания… м-м-м… назовем это сверхцивилизацией. По-моему, это уже устоявшийся термин для обозначения иного разума, на много порядков более могущественного, нежели человеческий…

Вайнгартен, глубоко затягиваясь и выпуская дым, мерно кивал с необычайно важным и сосредоточенным видом.

— Почему им понадобилось останавливать

именно ваши исследования, — продолжал Вечеровский, — вопрос не только сложный, но и праздный. Существо дела состоит в том, что человечество, само того не подозревая, вызвало на себя контакт и перестало быть самодовлеющей системой. По-видимому, сами того не подозревая, мы наступили на мозоль некоей сверхцивилизации, и эта сверхцивилизация, по-видимому, поставила своей целью регулировать отныне наш прогресс по своему усмотрению…

— Да Фил, да подожди! — сказал Малянов. — Неужели даже ты не понимаешь? Какая, к черту, сверхцивилизация? Что это за сверхцивилизация, которая тычется в нас, как слепой котенок? Зачем вся эта бессмыслица? Этот мой следователь, да еще с коньяком… Бабы эти Захаровы… Где основной принцип разума: целесообразность, экономичность?..

— Это частности, Дима, — тихо сказал Вечеровский. — Зачем мерить внечеловеческую целесообразность человеческими мерками? И потом, представь себе: с какой силой ты бьешь себя по щеке, чтобы убить несчастного комара? Ведь таким ударом можно было бы убить всех комаров в округе разом.

Вайнгартен вставил:

— Или, например: какова целесообразность постройки моста через реку с точки зрения щуки?

— Ну, не знаю, — сказал Малянов. — Нелепо все это как-то.

Вечеровский подождал немного и, увидев, что Малянов заткнулся, продолжал:

— Я хотел бы подчеркнуть вот что. При такой постановке вопроса ваши личные неприятности и проблемы отходят на второй план. Речь теперь идет уже о судьбе человечества… — Он помедлил. — Ну, возможно не о судьбе в роковом смысле этого слова, однако, во всяком случае, о его достоинстве. Так что перед нами стоит задача защитить не просто вашу, Валя, теорию реверта-зы, но судьбу всей нашей планетной биологии вообще… Или я ошибаюсь?

Впервые в присутствии Вечеровского Вайнгартен раздулся до своих нормальных размеров. Он самым энергичным образом кивнул, но сказал совсем не то, что ожидал Малянов. Он сказал:

— Да, несомненно. Мы все понимаем, что речь идет не о нас лично. Речь идет о сотнях исследований. Может быть, о тысячах… Да что я говорю — о перспективных направлениях вообще!

— Так! — энергично сказал Вечеровский. — Значит, предстоит драка. Их оружие — тайна,

следовательно, наше оружие — гласность. Что мы должны сделать в первую очередь? Посвятить в события своих знакомых, которые обладают, с одной стороны, достаточной фантазией, чтобы поверить нам, а с другой стороны — достаточным авторитетом, чтобы убедить своих коллег, занимающих командные высоты в науке. Таким образом, мы косвенно выходим на контакт с правительством, получаем доступ к средствам массовой информации и можем авторитетно информировать все человечество. Первое ваше движение было совершенно правильным — вы обратились ко мне. Лично я беру на себя попытку убедить несколько крупных математиков, являющихся одновременно крупными администраторами. Естественно, я свяжусь с нашими, а потом и с зарубежными.

Он необычайно оживился, выпрямился в кресле и все говорил, говорил, говорил. Он называл имена, звания, должности, он очень четко определил, к кому должен обратиться Малянов, к кому — Вайнгартен. Можно было подумать, что он уже несколько дней сидел над составлением подробного плана действий. Но чем больше он говорил, тем большее уныние охватывало Малянова. И когда Вечеровский с каким-то совсем уже непри-

личным пылом перешел ко второй части своей программы, к апофеозу, в котором объединенное всеобщей тревогой человечество в едином строю сплоченными мощностями всей планеты дает отпор сверхцивилизованному супостату, — вот тут Малянов почувствовал, что с него хватит, поднялся, пошел на кухню и заварил новый чай. Вот тебе и Вечеровский. Вот тебе и башка. Видно, тоже здорово перепугался, бедняга. Да, брат, это тебе не про телепатию спорить. А вообще-то, мы сами виноваты: Вечеровский то, Вечеровский се, Вечеровский башка… А Вечеровский — просто человек. Умный человек, конечно, крупный человек, но не более того. Пока речь идет об абстракциях — он силен, а вот как жизнь-матушка подопрет… Обидно только, что он почему-то сразу принял сторону Вальки, а меня даже толком выслушать не пожелал… Малянов взял чайники и вернулся в комнату.

А в комнате, естественно, Вайнгартен делал компот из Вечеровского. Потому что, знаете ли, пиетет пиететом, а когда человек несет околесицу, то уж тут никакой пиетет ему не поможет.

…Уж не воображает ли Вечеровский, что имеет дело с полными идиотами? Может быть, у него, Вечеровского, и есть в запасе пара авторитетных

и в тоже время полоумных академиков, которые после полубанки способны встретить такую вот информацию с энтузиазмом? Лично у него, Вайнгартена, подобных академиков нет. У него, Вайнгартена, есть старый друг Митька Малянов, от которого он, Вайнгартен, мог бы ожидать определенного сочувствия, тем более, что сам Малянов ходит в пострадавших. И что же — встретил он его, Вайнгартена, рассказ с энтузиазмом? С интересом? С сочувствием, может быть? Черта с два! Первое же, что он сказал, — это что Вайнгартен врет. И между прочим, он, Малянов, по-своему прав. Ему, Вайнгартену, даже страшно подумать — обращаться с таким рассказом к своему шефу, скажем, хотя шеф, между прочим, человек еще вовсе не старый, отнюдь не закоснелый и сам склонный к некоему благородному сумасшествию в науке. Неизвестно, как там обстоят дела у Вечеровского, но он, Вайнгартен, совершенно не имеет целью провести остаток дней своих даже в самой роскошной психолечебнице…

— Санитары приедут и заберут! — сказал тут Захар жалобно. — Это же ясно. И вам-то еще ничего, а мне ведь сексуального маньяка вдобавок приклеют…

— Подожди, Захар! — сказал Вайнгартен с

раздражением. — Нет, Фил, честное слово, я вас просто не узнаю! Ну предположим даже, что разговоры о клиниках — это некоторое преувеличение. Но ведь мы тут же кончимся как ученые, немедленно! Рожки да ножки останутся от нашего реноме! А потом, черт побери, если предположить даже, что нам удалось бы найти одного-двух сочувствующих из Академии, — ну как они пойдут с этим бредом в правительство? Кто на это рискнет? Это же черт знает как человека должно прожечь, чтобы он на это рискнул! А уж человечество наше, наши дорогие сопланетники... — Вайнгартен махнул рукой и глянул на Малянова своими маслинами. — Налей-ка погорячее, — сказал он. — Гласность... Гласность — это, знаете ли, палка о двух концах... — И он принялся шумно пить чай, то и дело проводя волосатой рукой по потному носу.

— Ну, кому еще налить? — спросил Малянов.

На Вечеровского он старался не смотреть. Налил Захару, налил Глухову. Налил себе. Сел. Ужасно было жалко Вечеровского и ужасно неловко за него. Правильно Валька сказал: реноме ученого — это вещь очень нежная. Одна неудачная речь — и где оно, твое реноме, Филипп Павлович?

Вечеровский скорчился в кресле, опустив ли-

цо в ладони. Это было невыносимо. Малянов сказал:

— Понимаешь, Фил, все твои предложения… эта твоя программа действия… теоретически это все, наверное, правильно. Но нам-то сейчас не теория нужна. Нам сейчас нужна такая программа, которую можно реализовать в конкретных, реальных условиях. Ты вот говоришь: „объединенное человечество“. Понимаешь, для твоей программы, наверное, подошло бы какое-нибудь человечество, но только не наше — не земное, я имею в виду. Наше ведь ни во что такое не поверит. Оно ведь знаешь когда в сверхцивилизацию поверит? Когда эта сверхцивилизация снизойдет до нашего же уровня и примется с бреющего полета валить на нас бомбы. Вот тут мы поверим, вот тут мы объединимся, да и то, наверное, не сразу, а сначала, наверное, сгоряча друг другу пачек накидаем.

— В точности так! — сказал Вайнгартен неприятным голосом и коротко хохотнул.

Все помолчали.

— А у меня и вовсе шеф — женщина, — сказал Захар. — Очень милая, умная, но как я ей буду все это рассказывать? Про себя…

И опять все надолго замолчали, прихлебывая

чай. Потом Глухов проговорил негромко:

— Чаек какой — просто прелесть! Умелец вы, Дмитрий Алексеевич, давно такого не пил… Да-да-да… Конечно, все это трудно, неясно… А с другой стороны — небо, месяц, смотрите, какой… чаек, сигаретка… Что еще, на самом деле, человеку надо? По телевизору — многосерийный детектив, очень недурной… Не знаю, не знаю… Вы вот, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет межзвездного газа… А какое вам, собственно, до этого дело? Если подумать, а? Подглядывание какое-то, а? Вот вам и по рукам — не подглядывайте… Пей чаек, смотри телевизор… Небо ведь не для того, чтобы подглядывать. Небо ведь — оно чтобы любоваться…

И тут Захаров мальчик вдруг звонко и торжественно объявил:

— Ты хитрый!

Малянов подумал, было, что это он про Глухова. Оказалось — нет. Мальчик, по-взрослому прищурясь, смотрел на Вечеровского и грозил ему измазанным в шоколаде пальцем. „Тише, тише…“ — с беспомощным укором пробормотал Губарь, а Вечеровский вдруг отнял ладони от лица и принял свою первоначальную позу — развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее

лицо его усмехалось.

— Итак, — сказал он, — я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимый невооруженным глазом. Легко видеть, что в точно такой же тупик заводят нас гипотезы легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах Мирового океана и вообще любой *разумно* действующей силы. Было бы очень хорошо, если бы все сейчас только одну минуту помолчали и подумали, чтобы убедиться в справедливости моих слов.

Малянов бессмысленно болтал ложечкой в стакане и думал: вот стервец, это надо же, как он всех нас купил! Зачем? Что за спектакль?.. Вайнгартен глядел прямо перед собой, глаза его постепенно выкатывались, толстые, залитые потом щеки угрожающе подрагивали. Глухов растерянно глядел на всех по очереди, а Захар просто терпеливо ждал: видимо, драматизм минуты молчания прошел мимо него.

Потом Вечеровский заговорил снова:

— Обратите внимание. Для объяснения фантастических событий мы попытались привлечь соображения, хотя и фантастические, но тем не менее лежащие внутри сферы наших современных представлений. Это не дало нам ничего.

Абсолютно ничего. Валя показал нам это чрезвычайно убедительно. Поэтому, очевидно, вовсе не имеет смысла… я бы сказал — *тем более не имеет смысла привлекать какие бы то ни было соображения*, лежащие вне сферы современных представлений. Скажем, гипотезу бога… или… или иные… Вывод?

Вайнгартен судорожно вытер лицо полой рубашки и принялся лихорадочно хлебать чай. Малянов спросил с обидой:

— Ты что же это — нарочно нас разыграл?

— А что мне оставалось делать? — отозвался Вечеровский, задирая свои проклятые рыжие брови до самого потолка. — Самому вам доказать, что ходить по начальству бессмысленно? Что вообще бессмысленно ставить вопрос так, как вы его ставите? „Союз Девяти или тау-китяне…“ Да какая вам разница? О чем здесь спорить? Какой бы вы ответ ни дали, никакой практической программы действий вы из этого ответа не извлечете. Сгорел у вас дом, или разбило его ураганом, или унесло наводнением — вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить, что делать дальше…

— Ты хочешь сказать… — начал Малянов.

— Я хочу сказать, — проговорил Вечеровский

жестко, — что ничего ИНТЕРЕСНОГО с вами не произошло. Нечем здесь интересоваться, нечего здесь исследовать, нечего здесь анализировать. Все ваши поиски причин есть просто праздное любопытство. Не о том вам надо думать, каким именно прессом вас давят, а о том, как вести себя под давлением. А думать об этом гораздо сложнее, чем фантазировать насчет царя Ашоки, потому что отныне каждый из вас — ОДИН. Никто вам не поможет. Никто вам ничего не посоветует. Никто за вас ничего не решит. Ни академики, ни даже все прогрессивное человечество… Ну, об этом Валя достаточно хорошо говорил.

Он поднялся, налил себе чаю и снова вернулся в кресло — невыносимо уверенный, подтянутый, элегантно-небрежный, как на дипломатическом приеме. Он и чашку-то держал — словно какой-нибудь там занюханный пэр на файв-о-клоке у королевы…

Мальчик процитировал на весь дом:

— „Если больной пренебрегает советами врачей, неаккуратно лечится, злоупотребляет алкоголем, то примерно через пять-шесть лет вторичный период сменяется третичным периодом болезни — последним…“

Захар вдруг сказал с тоской:

— Ну почему? Ну почему именно со мной, с нами?..

Вечеровский с легким стуком поставил чашку на блюдечко, а блюдечко на стол рядом с собой.

— Потому, что век наш весь в черном, — объяснил он, промакивая серовато-розовые, как у лошади, губы белоснежным платочком. — Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем…

— Тьфу на тебя, — сказал Малянов, а Вечеровский разразился довольным, сытым марсианским уханьем.

Вайнгартен выкопал из переполненной пепельницы чинарик подлиннее, сунул его в толстые губы, чиркнул спичкой и некоторое время сидел так, совершенно скосив глаза на огонек.

— Действительно… — произнес он. — Не все ли равно, какая именно сила… если она заведомо превышает человеческую… — Он закурил. — Тля, на которую упал кирпич, или тля, на которую упал двугривенный… Только я не тля. Я могу выбирать.

Захар смотрел на него с надеждой, но Вайнгар-

тен замолчал. Выбирать, подумал Малянов. Легко сказать — выбирать…

— Легко сказать — выбирать! — начал было Захар, но тут заговорил Глухов, и Захар с надеждой уставился на него.

— Да ясно же! — сказал Глухов с необычайной проникновенностью. — Неужели неясно, что выбирать? Жизнь надо выбирать! Что же еще? Не телескопы же ваши, не пробирки же… Да пусть они ими подавятся, телескопами вашими! Диффузными газами!.. Жить надо, любить надо, природу ощущать надо — ощущать, а не ковыряться в ней! Когда я сейчас смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я знаю — это мой друг, мы существуем друг для друга, мы друг другу нужны…

— Сейчас? — громко спросил Вечеровский.

Глухов запнулся.

— Простите? — пробормотал он.

— А ведь мы с вами знакомы, Владлен Семенович, — сказал Вечеровский. — Помните? Эстония, школа матлингвистики… финская баня, пиво…

— Да-да, — сказал Глухов, опустив глаза. — Да.

— Вы были тогда совсем другим, — сказал Вечеровский.

— Ну, так когда это было… — сказал Глухов. — Бароны, знаете ли, стареют…

— Бароны также и воюют, — сказал Вечеровский. — Не так уж давно это было.

Глухов молча развел руками.

Малянов ничего не понял в этой интермедии, но что-то в ней было, что-то неприятное, неспроста они друг другу это все говорили. А Захар, видимо, понял, понял как-то по-своему, какую-то обиду для себя он почувствовал в этом небольшом разговоре, какое-то оскорбление, что-то, потому что вдруг с необычайной резкостью, чуть ли не со злобой почти, выкрикнул, обращаясь к Вечеровскому:

— Снегового-то они убили! Вам, Филипп Павлович, легко рассуждать, вас-то они за горло не взяли, вам хорошо!..

Вечеровский кивнул.

— Да, — сказал он. — Мне хорошо. Мне хорошо, и вот Владлену Семеновичу тоже хорошо. Правда, Владлен Семенович?

Маленький уютный человек с красными кроличьими глазами за сильными стеклами старомодных очков в стальной оправе снова молча развел руками. Потом он встал и, ни на кого не глядя, проговорил:

— Прошу прощенья, друзья, но мне пора идти. Уже поздно...»

8

15. «…Может быть, хочешь переночевать у меня? — спросил Вечеровский.

Малянов мыл посуду и обдумывал это предложение. Вечеровский не торопил его с ответом. Он снова удалился в общую комнату, некоторое время двигался там, вернулся с кучей мусора в подмокшей газете и сунул мусор в ведро. Затем он взял тряпку и принялся вытирать кухонный стол.

Вообще-то после всех сегодняшних событий и разговоров оставаться одному Малянову было как-то не в жилу. А с другой стороны, бросать квартиру и уходить было как-то неловко и, прямо скажем, стыдно. Получается, что они меня все-таки выживают, подумал он. А я терпеть не могу ночевать в чужих домах, даже у друзей. Даже у Вечеровского. Он вдруг совершенно явственно ощутил аромат кофе. Хрупкая, как розовый лепесток, розовая чашечка, и в ней — волшебный напиток „а-ля Вечеровский“. Но если подумать, не на ночь же его пить… Кофе можно выпить утром.

Он домыл последнее блюдце, поставил его в сушилку, кое-как затер лужу на линолеуме и пошел в большую комнату. Вечеровский уже сидел там в кресле, развернувшись лицом к окну. Небо за окном было розовое с золотом, молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника. Малянов взял свое кресло, тоже развернул к окну и тоже уселся. Теперь их с Вечеровским разделял стол, на котором Фил навел порядок: книги лежали аккуратной стопкой, недельной пыли и следа не осталось, все три карандаша и ручка аккуратно выстроились рядом с календарем. Вообще, пока Малянов возился с посудой, Вечеровский успел навести в комнате совершенно необычайный блеск — только что не пропылесосил, но при всем том сам ухитрился остаться элегантным, подтянутым, без единого пятнышка на кремовых одеждах. Он даже ухитрился не вспотеть, что было уже совершенной фантастикой. А вот у Малянова, хоть он и был в Иркином фартуке, все брюхо было мокрое, прямо как у Вайнгартена. Если у жены брюхо после мытья посуды мокрое, значит, муж пьяница. А если у мужа?..

Они молчали и смотрели, как в двенадцатиэтажнике одно за другим гаснут окна. Появился

Калям, тихонько мявкнув, вскочил Вечеровскому на колени, устроился и заурчал. Вечеровский тихо гладил его длинной узкой ладонью, не отрывая глаз от огней за окном.

— Он линяет, — предупредил Малянов.

— Неважно, — отозвался Вечеровский тихонько.

Они опять замолчали. Теперь, когда рядом не было потного красного Вайнгартена, совершенно убитого ужасом Захара с его кошмарным ребенком и такого обыкновенного и в то же время загадочного Глухова, когда рядом был только Вечеровский, бесконечно спокойный, бесконечно уверенный в себе и не ожидающий ни от кого никаких сверхъестественных решений, — теперь все прошедшее казалось не то чтобы сном, а скорее некоей эксцентрической повестью, и если это даже действительно произошло, то давно, и не происходило, собственно, а только начало происходить, а потом перестало. Малянов ощутил даже смутный интерес к этому полулитературному персонажу: получил он в конце концов свои пятнадцать лет или все…»

16. «…вспомнил Снегового и пистолет в пижаме, и печать на двери.

— Слушай, — сказал я. — Неужели они Снего-

вого убили?

— Кто? — не сразу отозвался Вечеровский.

— Н-ну… — начал я и замолчал.

— Снеговой, судя по всему, застрелился, — сказал Вечеровский. — Не выдержал.

— Чего не выдержал?

— Давления. Сделал свой выбор.

Это была не эксцентрическая повесть. Я опять ощутил то же знакомое оцепенение внутри, забрался в кресло с ногами и обхватил колени. Сжался так, что хрустнули мускулы. Это ведь я, это ведь со мной происходит. Не с Иваном-царевичем, не с Иванушкой-дурачком, а со мной. Вечеровскому хорошо…

— Слушай, — сказал я сквозь зубы. — Что там у тебя с Глуховым? Странно вы с ним как-то говорили…

— Он меня разозлил, — отозвался Вечеровский.

— Чем?

Вечеровский помолчал.

— Не смеет оставаться один, — сказал он.

— Понимаю, — сказал я, подумав.

— Меня злит не то, как он сделал свой выбор, — проговорил Вечеровский медленно, словно размышляя вслух. — Но зачем все время оправ-

дываться? И он не просто оправдывается, он еще пытается завербовать других. Ему стыдно быть слабым среди сильных, ему хочется, чтобы и другие стали слабыми. Он думает, что тогда ему станет легче. Может быть, он и прав, но меня такая позиция бесит…

Я слушал его, раскрыв рот, а когда он замолчал, спросил осторожно:

— Ты хочешь сказать, что Глухов тоже… под давлением?

— Он *был* под давлением. Теперь он раздавлен.

— Подожди, подожди… Позволь!

Он медленно повернул ко мне лицо.

— А ты не понял? — спросил он.

— Откуда? Он же говорил… Я же своими ушами слышал… Да просто видно наконец, простым глазом, что человек ни сном, ни духом… Это же очевидно!

Впрочем, теперь это уже не казалось мне таким очевидным. Скорее, пожалуй, наоборот.

— Значит, ты не понял, — произнес Вечеровский, разглядывая меня с любопытством. — Гм… А вот Захар понял. — Он впервые за вечер достал трубку и кисет и принялся неторопливо набивать трубку. — Странно, что ты не понял… Впрочем, ты был в явно растрепанных чувствах. А между тем

посуди сам: человек любит детективы, человек любит посидеть у телевизора, сегодня как раз очередная серия этого убогого фильма… и вдруг он срывается с насиженного места, мчится к совершенно незнакомым людям — для чего? Чтобы пожаловаться на свои головные боли? — Он чиркнул спичкой и принялся раскуривать трубку. Желто-красный огонек заплясал в его сосредоточенно скошенных глазах. Потянуло медвяным дымком. — А потом — я ведь его сразу узнал. Точнее, не сразу… Он очень сильно переменился. Это ведь был этакий живчик — энергичный, крикливый, ядовитый… никакого руссоизма, никаких рюмочек. Сначала я его просто пожалел, но когда он принялся рекламировать свое новое мировоззрение, это меня взбесило.

Он замолк и занялся исключительно своей трубкой.

Я снова изо всех сил сжался в комок. Вот, значит, как это выглядит. Человека просто расплющило. Он остался жив, но он уже не тот. Вырожденная материя… Вырожденный дух. Не выдержал… Елки-палки, но ведь бывают, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит…

— Значит, ты и Снегового осуждаешь? — спросил я.

— Я никого не осуждаю, — возразил Вечеровский.

— Н-ну… Ты же бесишься вот… по поводу Глухова…

— Ты меня не понял, — с легким нетерпением сказал Вечеровский. — Меня бесит вовсе не выбор Глухова. Какое я имею право беситься по поводу выбора, который делает человек, оставшийся один на один, без помощи, без надежды… Меня раздражает поведение Глухова *после* выбора. Повторяю: он стыдится своего выбора и поэтому — только поэтому! — старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того могучую силу. Понимаешь меня?

— Умом — понимаю, — сказал я.

Я хотел добавить еще о том, что и Глухова можно вполне понять, а поняв — простить, что на самом деле Глухов вообще вне сферы анализа, он в сфере милосердия, но я вдруг почувствовал, что не могу больше говорить. Меня трясло. Без помощи и без надежды… Без помощи и без надежды… Почему я? За что? Что я им сделал?.. Надо было поддерживать разговор, и я сказал, стискивая зубы после каждого слова:

— В конце концов, существуют такие давления, которых никакому человеку не выдержать…

Вечеровский ответил что-то, но я не услышал его или не понял. До меня вдруг дошло, что еще вчера я был человеком, членом социума, у меня были свои заботы и свои неприятности, но пока я соблюдал законы, установленные социумом, — а это было вовсе не так уж трудно, — пока я соблюдал эти законы, меня от всех мыслимых опасностей надежно охраняли милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья, наконец, и вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели, а вокруг ходят и реют чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо — достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в порошок, расплющить, обратить в ничто… И мне дано понять, что пока я сижу в этой щели, меня не тронут. Даже еще страшнее: меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада, и волокут куда-то, неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит все дальше и дальше… Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная, разрушительная агрессия из Космоса, из недр океана, из четвертого измерения — насколько бы мне

было легче! Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, я был бы в рядах! А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего не заметит. Слава богу, что хоть Ирки здесь нет. Слава богу, что хоть ее это не касается… Бред! Бред! Чушь собачья! Я изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузионной материей?!

— По-видимому, да, — сказал Вечеровский.

Я с ужасом взглянул на него, но потом ощутил, что мой вопль еще отдается в моих собственных ушах.

— Слушай, Фил, в этом нет никакого смысла! — сказал я с отчаянием.

— С человеческой точки зрения — никакого, — сказал Вечеровский. — Но ведь люди как раз ничего не имеют против твоих занятий.

— А кто имеет?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — произнес Вечеровский, и это было так не похоже на него, что я расхохотался. Нервно. Истерически. И услышал в ответ довольное марсианское уханье.

— Слушай, — сказал я. — Ну их всех к черту. Давай чаю попьем!

Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет,

что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое, и я торопливо добавил:

— Давай, а? Я там коробку конфет утаил каких-то. Чего их, думаю, скармливать Вайнгартену… Давай!

— С удовольствием, — сказал Вечеровский и с готовностью встал.

— Знаешь, вот так думаешь, думаешь, — говорил я, пока мы шли на кухню, пока я наливал и ставил на газ чайник. — Вот так думаешь, думаешь — в глазах же черно становится. Нельзя так, нельзя. Такие вот штуки и загубили Снегового, я теперь это точно понимаю. Сидел он у себя в квартире один как перст, все лампы зажег, но что с этого толку? Эту черноту лампами не высветишь. Думал я вот так, думал, а потом щелкнуло что-то в голову — и конец… Чувство юмора терять нельзя, вот что. Это ведь на самом деле смешно: такая мощь, такие энергии — и все это, чтобы воспретить человеку разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли… Нет, правда, ты в это вдумайся, Фил! Смешно ведь, верно?

Вечеровский смотрел на меня с каким-то непривычным выражением.

— Ты знаешь, Дима, — произнес он, — вот юмо-

ристический аспект положения мне как-то в голову не приходил.

— Нет, правда… Как представишь себе… Вот собираются они там и начинают считать: на исследование кольчатых червей мы бросим сто мегаватт, на проталкивание такого-то проекта — семьдесят пять гигаватт, а на запрещение Малянову хватит и десяти. А кто-нибудь там возражает: десятки-де мало. Надо ведь телефонными звонками его заморочить — раз. Коньяку ему с бабой подсунуть — два… — Я сел и стиснул руки между коленями. — Нет, как хочешь, — это смешно.

— Да, — согласился Вечеровский. — Это довольно смешно. Не очень. Воображение у тебя, Дима, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своих пузырей додумался.

— Какие пузыри! — сказал я. — Не было никаких пузырей. И не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник, ничего не видел, ничего не слышал, маруха Нинка подтвердит, не было меня там… И вообще, у меня плановая тема — ИК-спектрометр, а все остальное — интеллигентская вылазка, Галилеев комплекс…

Мы помолчали. Тихонько засипел чайник и, приготовляясь закипеть, начал делать „пф-пф-

пф“.

— Ну, ладно, — сказал я. — Убогое воображение. Пожалуйста. Но согласись. Если от всех этих неприятных деталей отвлечься, чертовски интересно все получается. Все-таки получается, что они существуют. Столько болтали, столько гадали, столько врали… блюдечки дурацкие выдумывали, баальбекские веранды, а они все-таки существуют. Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали… Я, между прочим, всегда был уверен, что когда они наконец объявятся, они будут совершенно не похожи на все то, что про них навыдумывали…

— Кто это — они? — рассеянно спросил Вечеровский. Он раскуривал погасшую трубку.

— Пришельцы, — сказал я. — Или, выражаясь по науке, сверхцивилизация.

— А-а, — сказал Вечеровский. — Понимаю. Действительно, еще никто не додумался, что они будут похожи на милиционера с аберрациями поведения.

— Ладно, ладно, — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. — У меня воображение убогое, а у тебя его, видно, и совсем нет.

— Пожалуй, — согласился Вечеровский. — Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего,

по-моему, не существует. Флогистон, например, он же теплород… или, скажем, всемирный эфир… Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста… и не жалей заварки.

— Сам знаю, — огрызнулся я. — Так что ты там насчет флогистона?

— Я никогда не верил во флогистон. И я никогда не верил в сверхцивилизации. И флогистон, и сверхцивилизации — все это слишком человеческое. Как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно — животное. Не от разума. От неразумия.

— Позволь! — сказал я, стоя с заварочным чайником в одной руке и с пачкой цейлонского в другой. — Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией…

— Отнюдь, — сказал Вечеровский невозмутимо, — точнее, отнюдь нет. Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией. А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, чтобы наставить вас на путь истинный…

В большой комнате грянул телефон. Я вздрогнул и уронил крышку от чайника.

— Ч-черт… — пробормотал я, глядя то на Вечеровского, то на дверь.

— Иди, иди, — спокойно сказал Вечеровский,

поднимаясь. — Я заварю.

Я не сразу взял трубку. Было страшно. Звонить было некому, особенно в это время. Может быть, пьяный Вайнгартен? Сидит там один… Я взял трубку.

— Да?

Голос пьяного Вайнгартена сказал:

— Ну конечно, не спит… Привет, жертва сверхразума! Как ты там?

— О'кэй, — сказал я с огромным облегчением. — А ты?

— У нас тут полный порядок… — сообщил Вайнгартен. — З-заехали в „Авс… Австорию“… В „Аустерию“, понял?.. Взяли полбанки — показалось мало. Тогда взяли еще полбанки… Понесли эти две полбанки… иначе говоря, одну целую банку… и вот теперь прекрасно себя чувствуем. Приезжай!

— Да нет, — сказал я. — Мы тут с Вечеровским. Чай пьем.

— Кто чай пьет — тот отчается, — объявил Вайнгартен и захохотал. — Ну, ладно. Если что — звони…

— Я не понимаю, ты один или с Захаром?

— Мы втроем, — сказал Вайнгартен. — Очень мило… Значит, если что — приезжай. Эж… эж-

дем… — И он положил трубку.

Я вернулся на кухню. Вечеровский разливал чай.

— Вайнгартен? — спросил он.

— Да. Все-таки приятно, что в этом сумасшествии хоть что-то остается по-прежнему. Инвариантность относительно сумасшествия. Никогда раньше не думал, что пьяный Вайнгартен — это так хорошо.

— Что он тебе сказал? — осведомился Вечеровский.

— Он сказал: кто пьет чай, тот отчается.

Вечеровский удовлетворенно заухал. Он любил Вайнгартена. Очень по-своему, но любил. Он считал Вайнгартена анфан терибль — большим, шумным, потным анфан терибль.

— Подожди, — сказал я. — А где же конфеты? А!

Я залез в холодильник и вытащил роскошную коробку „Пиковой дамы“.

— Видал?

— О! — сказал Вечеровский с уважением.

Мы почали коробку.

— Привет от сверхцивилизации, — сказал я. — Да! Так что ты там говорил? Совсем меня с толку сбил… Да! Ты что же, даже после всего

утверждаешь…

— Умгу… — сказал Вечеровский. — Утверждаю. Я всегда знал, что никаких сверхцивилизаций не существует. А теперь, после всего, как ты выразился, — я догадываюсь, почему не существует.

— Подожди, подожди… — Я поставил чашку. — Почему и так далее — это все теория, а ты мне вот что скажи… Если это не сверхцивилизация… если это не пришельцы в самом широком смысле слова, тогда кто? — Я разозлился. — Ты знаешь что-нибудь или просто языком треплешь, парадоксами развлекаешься? Один человек застрелился, из другого сделали медузу… Что ты нам голову морочишь?

Нет, даже невооруженным глазом было видно, что Вечеровский не занимается парадоксами и не морочит нам голову. Лицо у него вдруг сделалось серое, утомленное, и проступило на нем какое-то огромное, доселе тщательно скрываемое, а теперь вырвавшееся на волю напряжение… или, может быть, упрямство — жестокое яростное упрямство. Он даже на себя перестал быть похож. У него-то ведь лицо, в общем, скорее вялое, с этакой сонной аристократической тухлецой, а тут оно все словно окаменело. И мне опять стало страшно. В этот момент я впервые подумал,

что Вечеровский сидит здесь вовсе не потому, что хочет меня морально поддержать. И вовсе не поэтому он приглашал меня переночевать у него, а давеча — посидеть у него и поработать. И хотя мне было очень страшно, я вдруг испытал прилив жалости к нему, ни на чем, собственно, не основанной, жалости — только на каких-то мутных ощущениях основанной, да на том, как вдруг переменилось его лицо.

И тут я вспомнил ни с того ни с сего, что года три назад Вечеровского положили в больницу, но ненадолго, скоро выписали…»

17. «…неизвестная ранее форма доброкачественной опухоли. Только через год. А я обо всем этом узнал и вообще только прошлой осенью, а ведь встречался с ним каждый божий день, пил у него кофеек, слушал его марсианское уханье, жаловался ему, что фурункулы одолели. И ничего, ничегошеньки не подозревал…

И вот сейчас, охваченный этой неожиданной жалостью, я не удержался и сказал, хотя знал заранее, что говорить это бессмысленно, толку от этого никакого не будет:

— Фил, — сказал я, — а ты что — тоже под давлением?

Конечно, он не обратил на мой вопрос никакого

внимания. Просто не услышал меня. Напряжение ушло с его лица, снова утонуло в аристократической одутловатости, рыжие веки наползли на глаза, и он усиленно засопел потухшей трубкой.

— Я вовсе не морочу вам голову, — сказал он. — Вы сами себе морочите голову. Это же вы придумали свою сверхцивилизацию, и никак вы не поймете, что это слишком просто — современная мифология, и не более того.

У меня мурашки поползли по коже. Еще сложнее? Еще, значит, хуже? Куда же больше?

— Ты ведь астроном, — продолжал он укоризненно. — Ты ведь должен знать про основной парадокс ксенологии…

— Ну, знаю, — сказал я. — Всякая цивилизация в своем развитии с высокой вероятностью…

— И так далее, — прервал он меня. — Мы неизбежно должны наблюдать следы их деятельности, но мы этих следов не наблюдаем. Почему? Потому что сверхцивилизаций не бывает. Потому что превращения цивилизаций в сверхцивилизацию почему-то не происходит.

— Ну да, — сказал я. — Разум губит себя в ядерных войнах. Чушь все это.

— Конечно, чушь, — спокойно согласился он. — Тоже слишком просто, слишком примитивно, в

сфере привычных представлений…

— Подожди, — сказал я. — Что ты затвердил, как попугай, — примитивно, примитивно. На самом деле все, наверное, совсем не так просто… Генетические болезни… какая-нибудь усталость от бытия… целевая переориентация… Об этом же целая литература существует. Я, например, считаю, что проявления сверхцивилизаций носят космический характер, мы просто не умеем отличить их от природных космических явлений. Или, пожалуйста, наш случай — чем не проявление?

— Человеческое, слишком человеческое, — проговорил Вечеровский. — Они обнаружили, что земляне на пороге Космоса, и, опасаясь соперничества, решили это прекратить. Так?

— Почему бы и нет?

— Да потому, что это — роман. Вернее, целая литература в ярких дешевых обложках. Это все попытки натянуть фрачную пару на осьминога. Причем даже не просто на осьминога, а на осьминога, которого на самом деле не существует…

Вечеровский отодвинул чашку, поставил локоть на стол и, подперши подбородок кулаком, задрав рыжие брови, стал глядеть куда-то поверх моей головы.

— Смотри, как у нас забавно получается, — сказал он. — Казалось бы, два часа назад обо всем договорились: неважно, какая сила на вас действует, важно — как вести себя под давлением. Но вот я вижу, что ты об этом совершенно не думаешь, ты упорно, снова и снова возвращаешься к попыткам идентифицировать эту силу. И при этом упорно возвращаешься к гипотезе сверхцивилизации. Ты даже готов забыть и уже забыл собственные свои маленькие возражения против этой гипотезы. И я в общем понимаю, почему это с тобой происходит. Где-то в подсознании у тебя сидит идейка, что любая сверхцивилизация — это все-таки цивилизация, а две цивилизации всегда сумеют между собой как-то договориться, найти некий компромисс, накормить волков и сохранить овец… И уж в самом худшем случае — сладко покориться этой враждебной, но импозантной силе, благородно отступить перед противником, достойным победы, а там — чем черт не шутит! — может быть и получить награду за свою разумную покорность… Не выкатывай, пожалуйста, на меня глаза. Я ведь говорю: это у тебя в подсознании. И разве только у тебя? Это же очень, очень человеческое. От бога отказались, но на своих собственных ногах, без опоры, без

какого-нибудь костыля стоять еще не умеем. А придется! Придется научиться. Потому что у вас, в вашем положении не только друзей нет. Вы до такой степени одиноки, *что у вас и врага нет*! Вот чего вы никак не хотите понять.

Вечеровский замолчал. Я пытался переварить эту неожиданную речь, пытался найти аргументы, чтобы возражать, оспаривать, с пеной у рта доказывать… что? Не знаю. Он был прав: уступить достойному противнику — это не позор. То есть это не он так думает. Это я так думаю. То есть не думаю, а только сейчас подумал — после того, как он об этом сказал. Но ведь у меня и на самом деле было ощущение, что я — генерал разбитой армии и брожу под градом ядер в поисках генерала-победителя, чтобы отдать ему шпагу. И при этом меня не столько угнетает само поражение, сколько то проклятое обстоятельство, что я никак не могу найти этого супостата.

— Как же так — нет врага? — сказал я наконец. — Кому-то ведь все это понадобилось!

— А кому понадобилось, — с этакой ленцой произнес Вечеровский, — чтобы вблизи поверхности Земли камень падал с ускорением в девять и восемьдесят один?

— Не понимаю, — сказал я.

— Но ведь он падает именно так?

— Да…

— И сверхцивилизацию ты сюда не притягиваешь за уши? Чтобы объяснить этот факт…

— Подожди… При чем здесь…

— Кому же все-таки понадобилось, чтобы камень падал именно с таким ускорением? Кому?

Я налил себе чаю. В общем-то мне как будто оставалось сложить два и два, но я все равно ничего не понимал.

— Ты хочешь сказать, что мы имеем дело с каким-то стихийным бедствием, что ли? С явлением природы?

— Если угодно, — сказал Вечеровский.

— Ну, знаешь ли, голубчик!.. — Я развел руками, задел стакан и залил весь стол. — Ч-черт…

Пока я вытирал стол, Вечеровский по-прежнему лениво продолжал:

— А ты все-таки постарайся отказаться от эпициклов, попробуй все-таки поставить в центр не Землю, а Солнце. Ты сразу почувствуешь, насколько все упростится.

Я бросил мокрую тряпку в мойку.

— То есть у тебя есть своя гипотеза, — сказал я.

— Да, есть.

— Изложи. Кстати, почему ты не изложил ее

сразу? Когда здесь был Вайнгартен.

Вечеровский подвигал бровями.

— Видишь ли… Всякая новая гипотеза обладает тем недостатком, что вызывает всегда массу споров. А мне вовсе не хотелось спорить. Мне хотелось только убедить вас, что вы поставлены перед неким выбором, и выбор этот должны сделать в одиночку, сами. По-видимому, мне это не удалось. А между тем моя гипотеза, пожалуй, могла бы оказаться дополнительным аргументом, потому что суть ее… точнее, единственный практический вывод из нее состоит как раз в том, что у вас сейчас нет не только друзей, но даже и противника. Так что, может быть, я и ошибся. Может быть, мне следовало пойти на утомительную дискуссию, но зато тогда вы яснее бы представляли себе свое истинное положение. А дела, на мой взгляд, обстоят следующим образом…

Нельзя сказать, чтобы я не понял его гипотезу, но не могу сказать, что я осознал ее до конца. Не могу сказать, что его гипотеза убедила меня, но, с другой стороны, все происходившее с нами в нее укладывалось. Более того, в нее укладывалось вообще все, что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной, и в этом, если угодно, заключается и слабость этой гипотезы. Было

в ней что-то от утверждения, что веревка есть вервие простое.

Вечеровский вводил понятие Гомеостатического Мироздания (он употреблял именно это архаическое и поэтическое слово). „Мироздание сохраняет свою структуру“ — это была его основная аксиома. По его словам, законы сохранения энергии и материи вообще были частными проявлениями закона сохранения структуры. Закон неубывания энтропии противоречит гомеостазису мироздания и поэтому является законом частичным, а не всеобщим. Дополнительным по отношению к этому закону является закон непрерывного воспроизводства разума. Сочетание и противоборство этих двух частичных законов и обеспечивают всеобщий закон сохранения структуры.

Если бы существовал только закон неубывания энтропии, структурность мироздания исчезла бы, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеостазисом структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим, ибо у

непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: изменение природы Природы. Поэтому сама суть Гомеостазиса Мироздания состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как первые реакции Гомеостатического Мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. Мироздание защищается.

Не спрашивай меня, говорил Вечеровский, почему именно Малянов и Глухов оказались первыми ласточками грядущих катаклизмов. Не спрашивай меня, какова физическая природа сигналов, потревоживших гомеостазис в том уголке мироздания, где Глухов и Малянов затеяли свои сакраментальные исследования. Вообще не спрашивай меня о механизмах действия Гомеостатического Мироздания — я об этом ничего не знаю, так же, как никто ничего не знает, например, о механизмах действия закона сохранения энергии. Просто все процессы происходят так,

что энергия сохраняется. Просто все процессы происходят так, чтобы через миллиард лет эти работы Малянова и Глухова, слившись с миллионами и миллионами других работ, не привели бы к концу света. Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад и которому Малянов и Глухов, сами того не подозревая, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию…

Вот так примерно — не знаю уж, правильно или не совсем правильно, а может быть, и вовсе неправильно — я его понял. Я даже спорить с ним не стал. И без того дело было дрянь, а уж в таком аспекте оно представлялось настолько безнадежным, что я просто не знал, что сказать, как к этому относиться и зачем вообще жить. Господи! Малянов Д. А. версус Гомеостатическое Мироздание! Это даже не тля под кирпичом. Это даже не вирус в центре Солнца…

— Слушай, — сказал я. — Если все это так, какого черта тут вообще разговаривать? Да провались они, мои М-полости… Выбор! Да какой тут может быть выбор?

Вечеровский медленным движением снял очки

и принялся водить мизинцем по натертой горбинке носа. Он очень долго, изнурительно долго молчал. А я ждал. Потому что шестым чувством понимал: не может Вечеровский бросить меня вот так, на съедение своему гомеостазису, никогда бы этого не сделал, никогда бы мне всего этого не рассказал, если бы не существовал какой-то выход, какой-то вариант, какой-то все-таки, черт возьми, выбор. И вот он кончил сандалить свой нос, снова надел очки и тихонько произнес:

— Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мной кривые, глухие окольные пути…

— Ну? — сказал я.

— Повторить? — спросил Вечеровский.

— Ну, повтори.

Он повторил. Мне захотелось заплакать. Я торопливо поднялся, налил чайник и снова поставил его на газ.

— Хорошо, что чай на свете есть, — сказал я. — Давно бы уже пьяный под столом валялся…

— Я все-таки предпочитаю кофе, — сказал Вечеровский.

И тут я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Я, наверное, стал бледный,

а может быть, даже синий, потому что Вечеровский вдруг тревожно подался ко мне и тихо проговорил:

— Спокойно, Дима, спокойно… Я с тобой.

Я едва слышал его.

Там, в прихожей, открылась вторая дверь, зашуршала одежда, послышались быстрые шаги, отчаянно завопил Калям, и — я все еще сидел, как деревянный — запыхавшийся Иркин голос произнес: „Калямушка…“ И сразу же:

— Димка!

Не помню, как меня вынесло в коридор. Я схватил Ирку в охапку, стиснул ее, прижался (Ирка! Ирка!), вдохнул запах знакомых духов — у нее были мокрые щеки, и она тоже бормотала что-то странное: „Ты живой, господи… Что я только не думала! Димка!“ Потом мы опомнились. Во всяком случае, я опомнился. То есть до меня окончательно дошло, что это она, и дошло, что она бормочет. И мой аморфный деревянящий ужас сменился вполне конкретным житейским испугом. Я поставил ее на ноги, отстранился, вгляделся в заплаканное лицо (оно было даже не подмазано) и спросил:

— Что случилось, Ирка? Почему ты здесь? Бобка?

По-моему, она меня не слушала. Она цеплялась за мои руки, лихорадочно шарила мокрыми глазами по моему лицу и все повторяла:

— Я же чуть с ума не сошла… Я думала, что уже и не успею… Что же это такое…

Не разнимая рук, мы протиснулись в кухню, я усадил ее на свою табуретку, а Вечеровский молча налил ей крепкого чаю прямо из заварочного чайника. Она жадно выпила, расплескав половину на пыльник. На ней лица не было. Она так осунулась, что я с трудом ее узнавал. Глаза были красные, волосы растрепаны, торчали космами. Тут меня затрясло, и я привалился задом к мойке.

— С Бобкой что-нибудь? — проговорил я, еле ворочая языком.

— С Бобкой? — повторила она бессмысленно. — При чем здесь Бобка? Я из-за тебя чуть с ума не сошла… Что здесь произошло? — закричала она вдруг. — Ты болел? — Глаза ее снова обежали меня. — Ты же здоров, как бык!

Я почувствовал, что нижняя челюсть у меня отвисла, и захлопнул рот. Ничего было не понять. Вечеровский очень спокойно спросил:

— Ты получила что-нибудь дурное про Диму?

Ирка перестала обследовать меня глазами и

поглядела на него. Потом она вдруг сорвалась с места, выбежала в прихожую и сейчас же вернулась, на ходу копаясь в сумочке.

— Вы посмотрите… посмотрите, что я получила… — Гребенка, патрон с помадой, какие-то листки и коробочки, деньги сыпались на пол. — Господи, где же это… Да! — Она швырнула сумку на стол, сунула трясущуюся руку в карман пыльника, не сразу попала — и выхватила смятую телеграмму. — Вот!

Я схватил телеграмму. Пробежал. Ничего не понял… „УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ…“ Еще раз пробежал глазами, потом от отчаяния — вслух:

— „ДИМОЙ ПЛОХО ТОРОПИТЕСЬ УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ…“ Как — Снеговой? — сказал я. — Почему — Снеговой?

Вечеровский осторожно отобрал у меня телеграмму.

— Отправлено сегодня утром, — сказал он. — Все заверки, насколько я понимаю, в порядке…

— Когда отправлена? — спросил я громко, как глухой.

— Сегодня утром. В десять часов двадцать две минуты.

— Господи! Да что же он — подшутил надо мной так? — сказала…»

9

18. «...чем у меня. Билет на аэровокзале, она, конечно, не достала. Прорвалась, размахивая телеграммой, к начальнику, тот выдал ей какую-то бумажку, но толку от этой бумажки было чуть — самолетов в порту не было, а когда они появлялись, то летели не туда. В конце концов, отчаявшись, она села в самолет, который доставил ее в Харьков. Там все началось сначала, но плюс ко всему в Харькове шел проливной дождь, и только под вечер ей удалось добраться до Москвы на грузовом самолете, который вез холодильники и гробы. В Москве дело пошло легче. Из Домодедова она помчалась в Шереметьево, и в конце концов ей удалось добраться до Ленинграда в пилотской кабине. За все это время она не съела ни крошки, и половину всего этого времени она проревела. Даже засыпая, она жалобно грозилась, что завтра же с утра отправится на почту, призовет на помощь милицию и уж выяснит, чья это работа, какие гады это натворили. Я, естественно, поддакивал, что да, конечно, мы этого так не оставим, за такие штучки нужно

морду бить, и даже не морду бить, а просто сажать, и, конечно, я не стал ей говорить, что почта такие телеграммы без соответствующих справок не принимает, что пошутить таким вот образом в наше время, слава богу, просто невозможно и что скорее всего эту телеграмму вообще никто не посылал, а телетайп на почте в Одессе отпечатал ее совершенно самостоятельно.

Я заснуть не мог. Собственно, было уже утро. На улице было совсем светло, и в комнате, несмотря на задернутые шторы, тоже было светло. Некоторое время я лежал неподвижно, гладил Каляма, растянувшегося между нами, и слушал тихое ровное дыхание Ирки. Она всегда спала очень крепко и с большим аппетитом. Не было на свете таких неприятностей, которые могли бы вызвать у нее бессонницу. По крайней мере до сих пор не было…

Тошное, маятное оцепенение, которое навалилось на меня с того момента, когда я прочитал и понял наконец телеграмму, не покидало меня. Все мускулы были сведены словно судорогой, и внутри, в груди и в животе, лежал огромный бесформенный холодный ком. Иногда этот ком принимался ворочаться, и тогда меня начинала бить дрожь.

Сначала, когда Ирка вдруг замолкла на полуслове и я услышал ее ровное сонное дыхание, мне на мгновение стало легче: я был не один, более того — со мной рядом был самый, наверное, родной и любимый человек. Но холодная жаба в груди шевельнулась, и я ужаснулся этому чувству облегчения и подумал: до чего же это я докатился, до чего они меня укатали, что я способен радоваться Иркиному здесь присутствию, радоваться, что Ирка оказалась в одном со мною окопе под ураганным огнем. Не-ет, завтра же, завтра же за билетом! И — обратно ее в Одессу… через головы всех очередей, всех раскидаю, зубами прогрызу дорогу к кассе…

Бедная моя девочка, сколько ей пришлось пережить из-за этих гадов, из-за меня, из-за этой вонючей диффузной материи, которая вся, сколько ее есть, не стоит одной Иркиной морщинки. И до нее они добрались. Мало им было меня топтать — до нее добрались тоже… Зачем? Ирка-то им зачем понадобилась? Сволочи слеподырые, лупят по площадям, на кого бог пошлет… Я сел. Если с Иркой что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Да нет, ничего с нею не случится. Это они просто меня запугивают. Нервы мои бедные на катушку наматывают — не одним способом, так

другим. Не мытьем, так катаньем…

Ни с того ни с сего мне представился вдруг мертвый Снеговой — как он идет в огромной полосатой пижаме по московскому, грузный, холодный, с запекшейся дырой в большом черепе; как он входит в почтовое отделение и встает в очередь к телеграфному окошку; в правой руке у него пистолет, в левой — телеграмма, и никто вокруг ничего не замечает, приемщица берет у него из мертвых пальцев телеграмму, выписывает квитанцию и, не вспомнив о деньгах, произносит: „Следующий“.

Я потряс головой, чтобы отогнать видение, тихонько слез с тахты и как был, в одних трусах, прошлепал на кухню. Здесь было уже совсем светло, на дворе вовсю гомонили воробьи и шаркала метла дворника. Я взял Иркину сумочку, порылся, нашел мятую пачку с двумя поломанными сигаретами и, севши на стол, закурил. Давно я не курил. Года два, наверное, а может быть и три… Все силу воли доказывал. Да, брат Малянов. Теперь тебе понадобится вся твоя сила воли. Ч-черт, актер ведь я никудышный и врать толком не умею. А Ирке ничего не надо знать. Ни к чему ей все это. Это я должен пережить сам, сам должен с этим справиться. Тут мне никто не поможет, ни

Ирка, никто.

А при чем тут, собственно, помощь? — подумал я вдруг. Разве о помощи речь? Просто я никогда не говорил Ирке о своих неприятностях, если этого можно избежать. Я не люблю ее огорчать. Очень люблю радовать и терпеть не могу огорчать. Если бы не вся эта бодяга, с какой радостью я бы ей сейчас рассказал про М-полости, она бы сразу все поняла, у нее голова ясная, хотя она и не теоретик и все время жалуется на свою дурость… А сейчас что я ей скажу? Тоска, тоска…

Вообще-то неприятности неприятностям рознь. Бывают неприятности разных уровней. Бывают совсем мелкие, на которые не грех и пожаловаться, даже приятно. Ирка скажет: подумаешь, чепуха какая — и сразу же станет легче. Если неприятности покрупнее, то говорить о них просто не по-мужски. Я ни маме о них никогда не говорю, ни Ирке. Но потом, вообще-то говоря, идут неприятности уже такого масштаба, что с ними становится как-то неясно. Во-первых, хочу я этого или не хочу, а Ирка попала под огонь вместе со мной. Тут какая-то чушь получается, несправедливость. В меня бьют, как в бубен, но я хоть понимаю, за что, догадываюсь — кто… и вообще знаю, что меня бьют. Целятся. Что это не глупые

шутки и не удары судьбы. По-моему, все-таки лучше знать, что в тебя целятся. Правда, люди бывают всякие, и большинство все-таки предпочло бы не знать. Но Ирка, по-моему, не такая. Она отчаянная, я ее знаю. Она когда чего-нибудь боится, то прямо-таки опрометью бросается именно навстречу своему страху. Нечестно как-то получается — не рассказать ей. И вообще. Мне надо выбор делать. (Я, между прочим, об этом еще и не пытался думать, а думать придется. Или я уже выбрал? Сам еще об этом ничего не знаю, а уже выбрал…) И вот если выбирать… Ну, сам выбор, предположим, это дело только мое. Как захотим, так и сделаем. Но вот как насчет последствий? Выберу одно — начнут в нас кидать уже не простые бомбы, а атомные. Выберу другое… Интересно, понравился бы Ирке Глухов? В общем-то ведь милый, приятный человек, тихий, кроткий… Телевизор можно было бы, наконец, купить на радость Бобке, на лыжах бы ходили каждую субботу, в кино… В общем, так или иначе, а получается, что все это касается не только одного меня. И под бомбами сидеть плохо, и за медузой замужем через десять лет супружества вдруг оказаться — тоже не сахар… А может быть, как раз ничего? Откуда я знаю, за что меня Ирка

любит? То-то и оно, что не знаю. Между прочим, она этого, может быть, тоже не знает…

Я докурил, привстал с табуретки и сунул окурок в помойное ведро. Рядом с помойным ведром лежал паспорт. Очень мило. Все собрали до последней бумажки, до последнего медяка, а паспорт — вот он. Взял черно-зеленую книжицу и рассеяно заглянул на первую страницу. Сам не знаю — зачем. Меня окатило холодным потом. Сергеенко Инна Федоровна. Год рождения 1939… Что такое? Фотография была Иркина… Нет, не Иркина. Какая-то женщина, похожая на Ирку, но не Ирка. Какая-то Сергеенко Инна Федоровна.

Я осторожно положил паспорт на край стола, поднялся и на цыпочках прокрался в комнату. Меня окатило ледяным потом вторично. У женщины, которая лежала под простыней, сухая кожа туго обтягивала лицо, и были обнажены верхние зубы, белые, острые — то ли в улыбке, то ли в страдальческом оскале. Это ведьма была там под простыней. Не помня себя, я схватил ее за голое плечо и потряс. Ирка мгновенно проснулась, распахнула свои глазищи и невнятно проговорила: „Димкин, ты чего? Болит что-нибудь?..“ Господи, Ирка! Конечно, Ирка. Что за бред? „Я храпела, да?“ — спросила Ирка сонным голосом

и заснула снова.

Я на цыпочках вернулся на кухню, отодвинул подальше этот паспорт, выволок из пачки последнюю сигарету и снова закурил. Да. Вот так мы теперь живем. Такая вот у нас теперь будет жизнь. Отныне.

Ледяное животное внутри поворочалось еще немного и затихло. Я стер с лица противный пот, потом спохватился и снова полез в Иркину сумку. Иркин паспорт был там. Малянова Ирина Ермолаевна. Год рождения 1933. Ч-черт… Ну, хорошо, а это-то зачем им понадобилось? Ведь все же не случайно. И паспорт этот, и телеграмма, и с каким трудом Ирка добиралась, и даже то, что она летела в одном самолете с гробами — все ведь это не случайно… Или случайно? Слеподыры же, матушка-природа, стихия безмозглая… Вот это, между прочим, очень хорошо подтверждает Вечеровского. Потому что если это на самом деле Гомеостатическое Мироздание сокрушает микрокрамолу, то это так и должно выглядеть… Как человек, который охотится за мухой с полотенцем, — страшно свистящие удары, разрезающие воздух, летят с полок сбитые вазы, обрушивается торшер, гибнут ни в чем не повинные ночные мотыльки, задрав хвост, удирает под диван кошка,

которой наступили на лапу… Массированность и малоприцельность. Я ведь вообще ничего не знаю. Может быть, сейчас где-нибудь за Муринским Ручьем дом обрушился — целились в меня, а попали в дом, а мне и невдомек, на мою долю только этот паспорт и достался. И неужели это только из-за того, что я давеча подумал об М-полостях? Только представил себе, как я мог бы рассказать о них Ирке…

Слушай, я, наверное, так не смогу жить. Трусом я себя никогда не считал, но так вот жить, чтобы ни минуты покоя не было, чтобы от собственной жены шарахаться, принявши ее за ведьму… А Вечеровский Глухова теперь в упор не видит. Значит, и меня не станет видеть. Все придется изменить. Все будет другое. Другие друзья, другая работа, другая жизнь… Семья, может быть, тоже другая… С тех пор все тянутся передо мной кривые, глухие окольные пути. Глухие. Глухов… И будет стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало, когда бреешься. В зеркале будет очень маленький и очень тихий Малянов.

То есть, конечно, можно будет привыкнуть и к этому, ко всему на свете можно привыкнуть. И к любой утрате. Но какая это все-таки будет немаленькая утрата, если подумать. Ведь я десять

лет шел к этому. Даже не десять — всю жизнь. С детства, со школьного кружка, с самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа по чьим-то наблюдениям… М-полости мои — я ведь о них, собственно, ничего не знаю: что там у меня могло бы получиться, что бы могло получиться из этого у тех, кто заинтересовался бы этим после меня, продолжил бы, развил, добавил свое и передал бы дальше, в следующий век… Наверное, что-то немаленькое могло бы получиться, что-то немаленькое я утрачиваю, если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама Вселенная. Миллиард лет — большой срок. За миллиард лет из комочка слизи вырастает цивилизация…

Но ведь растопчут. Сначала жить не дадут, замордуют, сведут с ума, а если это не поможет — просто растопчут… Мать моя мамочка! Шесть часов. Солнце уже вовсю жарит.

И тут, я сам не знаю почему, холодное животное в груди исчезло. Я поднялся, спокойно ступая, пошел в комнату, залез в свой стол и вытащил свои бумаги, и взял ручку. А потом вернулся в кухню, расположился, сел и стал работать.

Думать по-настоящему я, конечно, не мог — голова была как ватой набита, веки жгло, — но я

старательно и тщательно перебрал черновики, выкинул все, что было уже не нужно, остальное расположил по порядку, взял общую тетрадь и стал все переписывать начисто, не торопясь, с аппетитом, аккуратно, тщательно выбирая слова, — так, словно я писал окончательный вариант статьи или отчета.

Многие не любят этого этапа работы, а я люблю. Мне нравится оттачивать терминологию, не спеша и со вкусом обдумывать наиболее изящные и экономичные обозначения, вылавливать блох, засевших в черновиках, вычерчивать графики, оформлять таблицы. Это благородная черная работа ученого — подведение итогов, время полюбоваться собой и делом рук своих.

И я любовался собой и делом рук своих, пока не возникла вдруг рядом со мной Ирка — обняла меня голой рукой за шею и прижалась теплой щекой к моей щеке.

— А? — произнес я и распрямил спину.

Это была моя обычная Ирка, совсем не то несчастное пугало, какой она явилась вчера. Она была розовая, свежая, ясноглазая и веселая. Жаворонок. Ирка у меня жаворонок. Я — сова, а она — жаворонок. Где-то я слышал про такую классификацию. Жаворонки ложатся рано, легко и с

удовольствием просыпаются и сейчас же начинают петь, и никакая мерихлюндия не заставит их проваляться, скажем, до полудня.

— Ты что, опять совсем не ложился? — спросила она и, не дожидаясь ответа, пошла к балконной двери. — Чего это они там разгалделись?

Только тут я сообразил, что во дворе у нас стоит какой-то необычный галдеж — толковище того типа, какое бывает на месте происшествия, когда милиция уже подъехала, а „скорая помощь“ еще в пути.

— Димка! — завопила Ирка. — Ты посмотри! Вот чудеса-то!

У меня упало сердце. Знаю я эти чудеса. Я выскочил…»

19. «…пить кофе. И тут Ирка бодро заявила, что все получилось прекрасно. В конце концов все на свете получается прекрасно. За эти десять дней Одесса успела надоесть ей хуже горькой редьки, потому что нынешним летом туда понаехало столько народу, сколько никогда еще не бывало, и вообще она соскучилась и возвращаться в Одессу не собирается, тем более, что билета сейчас наверняка не достать, а мама все равно намеревалась в Ленинград в конце августа, вот она Бобку и привезет. А сейчас она, Ирка, вернется на работу

— прямо сейчас вот кофе попьет и вернется, — а в отпуск поедем вместе, как когда-то собирались, в марте или в апреле: в Кировск поедем, кататься на горных лыжах.

Потом мы съели яичницу с помидорами. Пока я готовил яичницу с помидорами, Ирка облазала всю квартиру в поисках сигарет, не нашла и вдруг погрустнела, затуманилась, сварила еще кофе и спросила про Снегового. Я рассказал ей, что знал со слов Игоря Петровича, тщательно обойдя все острые углы и постаравшись представить эту историю как очевидный несчастный случай. Пока я все это рассказывал, вспомнилась мне красотка Лидочка, и я совсем было раскрыл рот, но вовремя спохватился.

Ирка что-то говорила о Снеговом, вспоминала что-то, углы рта у нее печально опустились („…теперь вот и сигаретку не у кого попросить!“), а я пил маленькими глоточками кофе и думал, что непонятно, как мне сейчас быть; что пока я не решил, рассказывать Ирке про все или не рассказывать, пожалуй не стоит заводить разговор ни о Лидочке, ни о столе заказов, потому что и с Лидочкой, и со столом заказов все обстоит чрезвычайно неясно, а точнее говоря — очень даже ясно, потому что вот уже сколько времени

прошло, а Ирка еще ни словечком не упомянула ни о своей подружке, ни о своем заказе. Конечно, Ирка могла забыть. Во-первых, треволнения, а во-вторых, она всегда все забывает, но лучше все-таки, от греха подальше, эти скользкие темы не затрагивать. Впрочем, маленький пробный шарик пустить, может быть, и стоит.

И, выбрав удобный момент, когда Ирка перестала говорить о Снеговом и перешла к более веселым предметам — как Бобка сверзился в канаву, а за ним сверзилась теща, — я спросил небрежным голосом:

— Ну, а как Лидочка твоя поживает?

Мой маленький пробный шарик получился на поверку несколько великоват и щербат. Ирка вытаращила глаза.

— Какая Лидочка?

— Да эта, твоя… школьная…

— А, Пономарева? А чего это ты ее вдруг вспомнил?

— Да так… — промямлил я. — Вспомнилось как-то. — Не подумал я о таком контрвопросе. — Одесса, броненосец „Потемкин“… Шаланды, полные кефали… Ну, вспомнилось просто, и все! Что ты пристала?

Ирка несколько раз моргнула, глядя на меня,

затем сказала:

— Мы встретились. Она красивая такая стала, от мужиков отбоя нет…

Возникла пауза. Ч-черт, терпеть не могу врать… Ничего себе — пробный шарик! Мне же и по лбу. Под испытующим взглядом Ирки я поставил на блюдце пустую чашку и, сказавши фальшивым голосом: „Как там наше дерево?“, я отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно: теперь уже окончательно. Н-ну, а как же наше дерево?

Дерево было на месте. Толпа подрассосалась. Собственно, около дерева стояли только кефир, трое дворников, водопроводчик и двое милиционеров. Тут же была и желтая патрульная машина „ПМГ“. Все (кроме машины, конечно) смотрели на дерево и, видимо, обменивались соображениями, как теперь быть и что все это означает. Один из милиционеров, снявши фуражку, утирал бритую голову носовым платком. Во дворе уже стало жарковато, и к привычному запаху нагретого асфальта, пыли и бензинчика примешивался какой-то новый запах — лесной, странный. Бритый милиционер вдруг надел фуражку, спрятал платок и, присев на корточки, принялся копаться пальцами в вывороченной земле. Я поспешно

отошел от балкона.

Ирка уже была в ванной. Я быстро убрал и помыл посуду. Спать хотелось ужасно, но я знал, что заснуть не смогу. Я теперь вообще, наверное, не смогу заснуть до тех пор, пока не кончится эта история. Я позвонил Вечеровскому. Уже услыхав гудки, я сообразил, что Вечеровского быть дома не должно, что он сегодня принимает экзамены у аспирантов, но прежде чем я успел додумать это до конца, он снял трубку.

— Ты дома? — спросил я глупо.

— Да как тебе сказать... — ответил Вечеровский.

— Ладно, ладно, — сказал я. — Дерево видел?

— Да.

— Как ты полагаешь?

— Думаю, что да, — сказал Вечеровский.

Я покосился в сторону ванной и, понизив голос, проговорил:

— По-моему, это я.

— Да?

— Угу. Я тут решил черновики привести в порядок.

— Привел?

— Не совсем. Сейчас сяду и попробую закончить.

Вечеровский помолчал.

— А зачем? — спросил он.

Я засмеялся.

— Н-не знаю… Захотелось вдруг переписать все начисто… Не знаю. От тоски, наверное. Жалко. А ты что, никуда сегодня не пойдешь?

— Кажется, нет. Как Ира?

— Щебечет, — сказал я. Рот у меня невольно растянулся в улыбке. — Ты же знаешь Ирку. Как с гуся вода.

— Ты ей рассказал?

— Что ты! Конечно нет.

— Почему, собственно, „конечно“?

Я крякнул.

— Понимаешь, Фил, я вот сам все думаю — рассказать или нет? И не знаю. Не могу сообразить.

— Если не знаешь, что делать, — произнес Вечеровский, — не делай ничего.

Я хотел ему сказать, что уж это мне и без него известно, но тут Ирка в ванной выключила душ, и я поспешно сказал:

— Ну, ладно, я пошел работать. Если что — звони, буду дома.

Ирка оделась, подмазалась, чмокнула меня в нос и ускакала. Я лег на кушетку ничком, положив голову на руки, и стал думать. Калям немедленно

пришел, взобрался на меня и улегся вдоль хребта. Он был мягкий, жаркий и влажный. И тут я заснул. Это было как обморок. Сознание пропало, а потом вдруг снова появилось. Каляма на моей спине уже не было, в дверь звонили. Нашим условным звонком: та — та-та — та-та. Я скатился с кушетки. Голова была ясная, и чувствовал я себя каким-то необычайно боевым. Какой-то я был весь готовый к смерти и к посмертной славе. Я понимал, что начинается новый цикл, но страха больше не было — одна отчаянная злая решимость.

Впрочем, за дверью оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь: он был еще более потный, всклоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера.

— Что это за дерево? — прямо с порога осведомился он. И опять же невозможная вещь: эти слова он произнес шепотом.

— Можно вслух, — сказал я. — Заходи.

Он вошел, ступая осторожно и озираясь, сунул под вешалку две тяжелые авоськи с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею. Я за хвост втащил Каляма в прихожую и захлопнул дверь.

— Ну? — сказал Вайнгартен.

— Как видишь, — ответил я. — Пошли в комнату.

— Дерево это — твоя работа?

— Моя.

Мы уселись — я за стол, он в кресло рядом. Из под расстегнутой внизу нейлоновой курточки у него выпер огромный волосатый живот, плохо прикрытый пляжной сетчатой майкой. Он сопел, отдувался, вытирался, потом принялся изгибаться в кресле, вытаскивая из заднего кармана пачку с сигаретами. При этом он вполголоса ругался черными словами, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Борьба, значит, продолжается… — сказал он наконец, выпуская толстые струи дыма из волосатых ноздрей. — Лучше, значит, умереть стоя, чем жить, трам-тарарам, на коленях… Идиот! — заорал он. — Ты хоть вниз спускался? Диван ты двуногий! Ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был! А если бы у тебя под задницей? Трам-тарарам, и трам, и тарарам!

— Ты чего орешь? — сказал я. — Валерьянки тебе дать?

— Водки нет? — спросил он.

— Нет.

— Ну, вина…

— Ничего нет. Что это ты мне притащил?

— Нобелевку свою! — заорал он. — Нобелевку притащил! Да только не тебе, идиоту… У тебя и своих хлопот хватит!.. — Он принялся яростно расстегивать свою курточку сверху, оторвал пуговицу и выругался. — Идиотов нынче мало, — объявил он. — В наше время, старик, большинство совершенно справедливо полагает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нам много не надо: вагончик хлеба, вагончик икры, и пусть даже икра будет черная при белом хлебе… Это тебе не девятнадцатый век, отец, — сказал он задушевно. — Девятнадцатый век давно умер, похоронен, и все, что от него осталось, — это миазмы, отец, и не более того. Я всю ночь не спал. Захар храпит, мальчишка его чудовищный — тоже, а я не сплю, прощаюсь с пережитками девятнадцатого века в своем сознании. Двадцатый век, старик, это расчет и никаких эмоций! Эмоции, как известно, это недостаточность информации, и не более того. Гордость, честь, потомки — все это дворянский лепет. Атос, Портос и Арамис. Я так не могу. Я так не умею, трам-тарарам! Проблема ценностей? Пожалуйста. Самое ценное, что есть в мире, это моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное

пусть катится все к чертовой матери. Остальное — за пределами моей ответственности. Драться? Ради бога. За себя. За семью, за друзей. До последнего, без пощады. Но за человечество? За достоинство землянина? За галактический престиж? Я не дерусь за слова! У меня заботы поважнее! А ты — как хочешь. Но идиотом быть не советую.

Он вскочил и огромный, как дирижабль, унесся на кухню. Из крана над мойкой с ревом устремилась вода.

— Вся наша деловая жизнь, — проорал он из кухни, — есть последовательная цепочка сделок! Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки! Это знали даже в девятнадцатом веке… — Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. — Вечеровский тебе не посоветует ни черта, — объявил он. — Это не человек, а робот. Причем, робот не из двадцать первого века, а из девятнадцатого. Если бы в девятнадцатом веке умели делать роботов, делали бы вот таких Вечеровских… Пожалуйста, можете считать меня человеком низменным. Не возражаю. Но пришить себя не дам! Никому. Ни за что. Живой пес лучше мертвого льва, и тем

более живой Вайнгартен гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и его друзей, я полагаю…

Я его не перебивал. Я его, мордатого, четверть века знаю, причем четверть не какого-нибудь века, а двадцатого. Он так орет, потому что разложил все по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно — не услышит. Пока Вайнгартен не разложил все по полочкам, вы можете с ним спорить на равных, как с самым обыкновенным человеком, причем сплошь и рядом его можно даже переубедить. Но Вайнгартен, разложивший все по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орет и становится безобразно циничен — это у него, наверное, от тяжелого детства.

Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента, и мне показалось странным только, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых Вайнгартенах. Не испугался же он, в конце концов, — он ведь не я. Я всякого Вайнгартена повидал: Вайнгартена влюбленного, Вайнгартена на охоте, Вайнгартена — грубого хама, Вайнгартена, излупцованного до неподвижности. И только одного Вайнгартена я не видел никогда: Вайнгартена испуганного. Я дождался, когда он на несколько секунд выключился, чтобы покопаться

в сигаретной пачке, и спросил на всякий случай:

— Тебя что, испугали?

Он немедленно оставил сигаретную пачку и протянул мне через стол большую влажную дулю. Он словно ждал моего вопроса. Ответ у него заранее был записан на пленку — не только в жестах, но и verbatim тоже.

— Вот тебе — меня испугали, — сказал он, маневрируя дулей у меня под носом. — Это тебе не девятнадцатый век. Это в девятнадцатом веке пугали. А в двадцатом этими глупостями не занимаются. В двадцатом веке хороший товар покупают. Меня не испугали, а купили, понял, старикашка? Ничего себе выбор! Или тебя раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два членкора уже друг друга до смерти загрызли. Да я в институте этом десять нобелевок сделаю, понял? Правда, и товар неплох. Право, так сказать, первородства. Право Вайнгартена на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной. Но — лежалый! Девятнадцатого века! Ты с этой свободой всю жизнь можешь просидеть в лабораториях, колбы перетирать. Институт — это тебе не чечевичная похлебка! Я там заложу десять идей, двадцать идей, а если им одна-две снова

не понравятся, — что ж, опять поторгуемся! Сила солому ломит, старик! Давай-ка не будем плевать против ветра. Когда на тебя прет тяжелый танк, а у тебя, кроме башки на плечах, никакого оружия нет, надо уметь вовремя отскочить…

Он еще некоторое время орал, курил, хрипло кашлял, подскакивал к пустому бару и заглядывал в него, разочарованно отскакивал и снова орал, потом затих, угомонился, лег в кресло и, закинув мордастую голову на спинку, принялся делать страшные рожи в потолок.

— Ну, ладно, — сказал я. — А нобелевку свою ты все-таки куда прешь? Тебе ведь в котельную надо, а ты ко мне на пятый этаж взгромоздился…

— К Вечеровскому, — сказал он.

Я удивился.

— На кой ляд твоя нобелевка Вечеровскому?

— Не знаю. У него спроси.

— Подожди, — сказал я. — Он что, звонил тебе?

— Нет. Я — ему.

— Ну?

— Что — ну? Что — ну? — Он выпрямился в кресле и принялся застегивать курточку. — Позвонил ему сегодня утром и сказал, что выбираю журавля в руках.

— Ну?

— Что — ну? Ну… он тогда и говорит, неси, говорит, все материалы ко мне.

Мы помолчали.

— Не понимаю, зачем ему твои материалы, — сказал я.

— Потому что он — Дон Кихот! — рявкнул Вайнгартен. — Потому что жареный петух его еще в маковку не клевал! Потому что не хлебнул еще горячего до слез!

Я вдруг понял.

— Слушай, Валька, — сказал я. — Не надо. Да ну его к черту, он же с ума сошел! Они же его в землю вколотят по самую маковку! Зачем это надо?

— А что? — жадно спросил Вайнгартен. — А как?

— Да сожги ты ее к черту, свою ревертазу! Вот давай прямо сейчас и сожжем… в ванне… А?

— Жалко, — сказал Вайнгартен и стал глядеть в сторону. — Сил нет, как жалко… Работа ведь — первый класс. Экстра. Люкс.

Я заткнулся. А его вдруг снова вынесло из кресла, он принялся бегать по комнате, в коридор и обратно, и опять закрутилась его магнитофонная лента. Стыдно — да! Честь страдает — да! Уязвлена гордость, особенно когда об этом никому не говоришь. Но ведь если подумать — гордость есть

идиотизм и ничего больше. С души воротит. Ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать бы не стали ни секундочки. И про нас они скажут: идиоты! И правильно скажут! Что нам, не приходилось отступать? Да тысячу раз приходилось! И еще тысячу раз придется! И не перед богами — перед паршивым чиновником, перед гнидой, которую к ногтю взять и то срамно…

Тут я разозлился, что он бегает передо мной, потеет и оправдывается, и сказал ему, что отступать — это одно, а он не отступает — он драпает, капитулирует он. Ох, как он взвился! Здорово я его задел. Но мне было нисколько не жалко. Это ведь я не его тыкал в нервное сплетение, это я себя тыкал… В общем, мы разругались, и он ушел. Забрал свои сетки и ушел к Вечеровскому. На пороге он сказал, что еще вернется попозже, но тут я ему преподнес, что Ирка объявилась, и он совсем увял. Он не любит, когда его недолюбливают.

Я сел за стол, снова вытащил свои бумаги и принялся работать. То есть не работать, конечно, а оформлять. Первое время я все ждал, что под столом у меня разорвется какая-нибудь бомба или в окно заглянет синяя рожа с веревкой на шее. Но ничего этого не происходило, я увлекся,

и тут снова позвонили в дверь.

Я не сразу пошел открывать. Сперва сходил на кухню и взял молоток для отбивания мяса — страшная такая штука: с одной стороны там этакий шипастый набалдашник, а с другой — топорик. Если что — рубану между глаз, и амба… Я человек мирный, ни ссор, ни драк не люблю, не Вайнгартен, но с меня хватит. Хватит с меня.

Я открыл дверь. Это оказался Захар.

— Здрасьте. Митя, извините, ради бога, — произнес он с какой-то искусственной развязностью.

Я невольно посмотрел вниз. Но там никого больше не оказалось. Захар был один.

— Заходите, заходите, — сказал я. — Очень рад.

— Понимаете, решил заглянуть к вам… — все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом, продолжал он. — Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал… Звоню ему весь день — нет. А тут вот собрался к Филип… э… Палычу, дай, думаю, загляну, может быть, он у вас…

— Филипп Павлович?

— Да нет, Валентин… Вайнгартен.

— Он тоже пошел к Филиппу Павловичу, — сказал я.

— Ах так! — с огромной радостью произнес Захар. — Давно?

— Да с час назад…

Лицо у него вдруг на мгновение застыло — он увидел молоток у меня в руке.

— Обед готовите? — произнес он и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил: — Ну что ж, не буду вам мешать, пойду… — Он двинулся обратно к двери, но остановился. — Да, я совсем забыл… То есть, не забыл в общем-то, а просто не знаю… Филипп Палыч… Какая у него квартира?

Я сказал.

— Ага, ага… А то он, понимаете ли, позвонил мне, а я… как-то, знаете ли, забыл… за разговором…

Он еще попятился и открыл дверь.

Понятно, понятно, — сказал я. — А где же ваш мальчик?

— А у меня все кончилось! — радостно выкрикнул он, шагнул через порог и…»

10

20. «…подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника. Я еле отбился. Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уж ей совсем нечего делать, раз уж ей, понимаешь, так неймется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером „Иностранной литературы“, — пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой. А я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. Морген, морген, нур нихт хойте. Но уж до блеска, чтобы ни одной пылинки.

Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовлетворением. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное угрюмое удовлетворение, я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей: он один, он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного

поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого унылого неба, и знает также, что это правильно, что иначе нельзя, и гордится этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг, помнил, что ничего не кончилось, все продолжается и что тут же под рукой, в ящике стола, лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдашником. И в какой-то момент этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате что-то произошло.

Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло, что-то совсем уже неожиданное и дикое, потому что глаза у Ирки были квадратные, а губы припухли. Я не успел слова сказать, как Ирка бросила передо мной, прямо на мои бумаги, какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик.

— Что это такое? — спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик.

— Это лифчик, — чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню.

Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в

руках розовую кружевную тряпку и ничего не понимал. Что за черт? При чем здесь лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я отшвырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню.

Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета.

— Не прикасайся ко мне, — произнесла она спокойно и страшно.

— Ирка! — жалобно сказал я. — Иришка! Тебе плохо!

— Животное... — непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету. Я увидел, что она плачет.

...„Скорую помощь“? Не поможет, не поможет, причем здесь „скорая помощь“... Валерьянки? Брому? Господи, лицо-то у нее какое... Я схватил стакан и налил воды из-под крана.

— Теперь все понятно... — сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан. — И телеграмма эта понятна, и все... Докатились... Кто она?

Я сел и отхлебнул из стакана.

— Кто? — тупо спросил я.

На секунду мне показалось, что она хочет меня ударить.

— Это надо же, какая благородная скотина, — проговорила она с отвращением. — Не захотел, значит, осквернять супружеское ложе… Ах, как благородно… У сына в комнате развлекался…

Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука у меня не слушалась. Врача! — металось у меня в голове. Ирка моя, маленькая, врача!

— Ладно, — сказала Ирка. Она больше не смотрела на меня. Она смотрела в окно и курила, поминутно затягиваясь. — Ладно, не будем. Ты сам всегда говорил, что любовь — это договор. У тебя всегда это очень красиво получалось: любовь, честность, дружба… Только уж могли бы проследить, чтобы лифчики за собой не забывали… Может быть, там еще и трусики найдутся, если поискать?

У меня словно шаровая молния лопнула в голове. Я сразу все понял.

— Ирка! — сказал я. — Господи, как ты меня напугала.

Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать, потому что она вдруг повернула ко мне лицо, бледное милое заплаканное лицо, и посмотрела на меня с таким ожиданием, с

такой надеждой, что я сам чуть не разревелся. Она хотела только одного: чтобы все сейчас же разъяснилось, чтобы все это оказалось чепухой, ошибкой, нелепым совпадением.

И это был последний камушек. Я больше уже не мог. Я больше не захотел держать это при себе. И я обрушил на нее всю лавину ужаса и сумасшествия последних двух дней.

Не знаю, наверное, в начале мой рассказ звучал, как анекдот. Скорее всего, так оно и было, но я говорил и говорил, ни на что не обращая внимания, не давая ей возможности вставить язвительное замечание, кое-как, без всякого порядка, плюнув на хронологию, и я видел, как выражение недоверия и надежды на ее лице сменилось сначала изумлением, затем беспокойством, затем страхом и, наконец, жалостью…

Мы уже сидели в большой комнате перед распахнутым окном — она в кресле, а я на ковре рядом, прижавшись щекой к ее колену, — и тут оказалось, что за окном — гроза, фиолетовая туча развалилась над крышами, хлещет ливень, и свирепые молнии ввинчиваются в темя двенадцатиэтажки, уходя в него без остатка. Крупные холодные брызги шлепались в подоконник, залетали в комнату, порывы ветра вздували желтые

шторы, а мы сидели неподвижно, и она тихонько гладила меня по волосам. А я испытывал огромное облегчение. Выговорился. Избавился от половины тяжести. Теперь отдыхал, прижав лицо к ее гладкому загорелому колену. Гром грохотал почти непрерывно, и разговаривать было трудно, да в общем-то мне и не хотелось больше разговаривать.

Потом она сказала:

— Димка. Ты только не должен на меня оборачиваться. Ты должен так решать, как будто меня нет. Потому что я все равно буду с тобой всегда. Что бы ты ни решил.

Я крепко прижался к ней. Собственно, я знал, что она так скажет, и толку от этих ее слов, собственно, никакого не было, но все равно я был ей благодарен.

— Ты меня прости, — продолжала она, помолчав, — но в голове у меня это никак не укладывается… Нет, я верю тебе, верю… только как-то уж очень странно все это получается… Может быть, все-таки какое-то другое объяснение поискать… более… ну, что ли… попроще что-нибудь, попонятнее…

— Мы искали, — сказал я.

— Нет, я, наверное, не то говорю… Вечеровский,

конечно, прав… Не в том прав, что это… как он говорит… Гомеостатическая Вселенная… он в том прав, что дело-то не в этом. Действительно, какая разница? Если Вселенная, то нужно сдаваться, а если пришельцы, то нужно бороться? В общем, ты меня не слушай. Это я просто так говорю… от обалдения…

Она зябко передернулась. Я приподнялся, втиснулся рядом с ней в кресло и обнял ее. Сейчас мне хотелось только одного — на разные лады повторять, как мне страшно. Как мне страшно за себя, как мне страшно за нее, как мне страшно за нас обоих вместе… Но это, конечно, было бы бессмысленно и даже, наверное, жестоко.

Мне казалось, что, если бы ее не было на свете, я бы точно знал, как мне поступить. Но она была. И я знал, что она гордится мною, всегда гордилась. Я ведь человек довольно скучный и не слишком-то удачливый, однако гордиться можно и мною тоже. Я был когда-то хорошим спортсменом, всегда умел работать, голова у меня варит, и в обсерватории я на хорошем счету, и в дружеских компаниях я на хорошем счету, умею повеселиться, умею острить, спорить умею… И она всем этим гордилась. Пусть немножко, но все-таки гордилась. Я же видел, как она смотрит

на меня иногда… Просто не знаю, как бы она в действительности отнеслась к моему превращению в медузу. Наверное, я и любить-то не смогу ее по-настоящему, даже на это не буду способен…

И словно в ответ на мои мысли, она вдруг сказала, оживившись:

— А помнишь, мы с тобой когда-то радовались, что все экзамены теперь позади и ничего сдавать больше не придется до самой смерти? Оказывается, не все. Оказывается, остается еще один.

— Да, — сказал я, а сам подумал: только это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить, или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что двойку.

— Димка, — прошептала она, повернув ко мне лицо. — А ведь, наверное, ты действительно какую-то великую штуку выдумал, если они так за тебя взялись… На самом-то деле тебе гордиться надо… и вообще всем вам… Ведь сама госпожа Вселенная на вас внимание обратила!

— Гм… — сказал я, а сам подумал: Вайнгартену с Губарем гордиться уже вообще нечем, а что касается меня, то это дело под большим вопросом.

И опять-таки, словно подслушав мои мысли, она произнесла:

— И совсем неважно, какое решение ты при-

мешь. Важно, что ты оказался способен на такое открытие… Ты мне хоть расскажешь, о чем там речь? Или это тоже нельзя?

— Не знаю, — сказал я, а сам подумал: что же это она — утешает меня или действительно так думает, или сама, бедняжка, напугана до того, что подталкивает меня на капитуляцию, или просто золотит пилюлю, которую мне — она уже это знает — придется проглотить? Или, может быть, наоборот, толкает меня на драку, дотлевающую гордость мою ворошит…

— Свиньи они, — сказала она тихо. — Только им все равно нас не разлучить. Правда? У них это не получится. Верно, Димка?

— Конечно, — сказал я, а сам подумал: об этом и речь, маленькая. Сейчас — только об этом.

Гроза уходила. Туча, неторопливо свертываясь, уплывала на север, открывая затянутое серой мглой небо, с которого лился уже не ливень, а сыпал мелкий серенький дождик.

— Дождик я привезла, — сказала Ирка. — А я-то думала, мы с тобой в Солнечное закатимся в субботу…

— До субботы еще далеко, — сказал я. — Может, и закатимся.

Все было сказано. Теперь надо было говорить

о Солнечном, о книжных полках для Бобки, о стиральной машине, которая опять сдохла. Обо всем этом мы и поговорили. И была иллюзия обычного вечера и, чтобы продлить и усилить эту иллюзию, было решено выпить чайку. Была вскрыта свежая пачка цейлонского, заварочный чайник тщательнейше, по науке, прополоснут горячей водой, на стол водружена торжественно коробка „Пиковой дамы“, и потом мы оба стояли над чайником и внимательно следили за водой, чтобы не пропустить момент ключевого кипения, и произносились традиционные шутки, и, расставляя чашки и блюдца, я тихонько взял со стола сакраментальный бланк стола заказов, и записочку насчет Лидочки, и паспорт Сергеенко И. Ф., смял их и незаметно сунул в помойное ведро.

И мы прекрасно попили чайку — это был настоящий чай, „чай как напиток“, — разговаривали о чем угодно, кроме самого главного, а я все думал, о чем сейчас думает Ирка, потому что у нее был такой вид, словно она уже успела забыть весь этот ужас, — сказала мне все, что думает по этому поводу, и теперь с облегчением забыла, снова оставив меня один на один с моим выбором.

Потом она сказала, что будет сейчас гладить и чтобы я при этом сидел рядом и рассказывал ей

про что-нибудь веселое. И я стал убирать посуду, и в это время раздался звонок в дверь.

Негромко напевая „Лучше гор могут быть только горы…“ — я направился в прихожую, бросив один только косой взгляд в сторону Ирки (она совершенно спокойно вытирала стол сухой чистой тряпкой). Уже поворачивая замок, я вспомнил о своем молотке, но мне показалось смешным и неловким возвращаться за ним в большую комнату, и я распахнул дверь.

Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: „Телеграмма, прошу расписаться…“. Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к стене, написал дату и время по его подсказке, затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же в прихожей, под яркой пятисотсвечовой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее.

Телеграмма была от тещи. „ВЫЛЕТАЕМ С БОБКОЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМОЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА“. И ниже была приклеена полоска: „ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ТАК“. Я прочитал телеграмму и

перечитал ее, затем очень медленно сложил ее вчетверо, погасил свет и пошел по коридору. Ирка уже ждала меня, прижавшись спиной к двери в ванную. Я протянул ей телеграмму, сказал: „Мама с Бобкой приезжают завтра…“ — и направился прямо к своему столу. На моих черновиках все еще валялся Лидочкин лифчик. Я аккуратно переложил его на подоконник, собрал листики, разложил их по порядку и сунул в общую тетрадь. Затем я достал новенькую папку для бумаг, вложил туда все, завязал тесемки и, не присаживаясь, написал на обложке чертежным шрифтом: „Д. Малянов. К вопросу о взаимодействии звезд с диффузионной материей в Галактике.“ Перечитал, подумал и густо зачеркнул „Д. Малянов“. Потом я взял папку под мышку и пошел вон. Ирка все стояла у двери в ванную, прижав телеграмму к груди. Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить. Я сказал не глядя: „Я к Вечеровскому. Скоро вернусь“.

По лестнице я поднимался неторопливо, ступенька за ступенькой, то и дело поправляя папку, съезжавшую у меня из под мышки. Свет на лестнице почему-то не включили, было сумрачно, и стояла тишина, слышно было только, как плещет

вода, стекающая с крыши за открытыми окнами. На площадке шестого этажа, где в нише у мусоропровода целовались давеча те двое, я остановился и посмотрел во двор. Огромное дерево влажно поблескивало черной листвой, и двор был пуст, и блестели рябые от дождя лужи.

Я никого не встретил на лестнице, только между седьмым и восьмым этажом сидел, скорчившись на ступеньках, какой-то маленький жалкий человечек, положив рядом с собою серую старомодную шляпу. Я осторожно обошел его и стал подниматься дальше, и вдруг он сказал:

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич…

Я остановился и посмотрел на него. Это был Глухов.

— Не ходите туда сейчас, — повторил он. — Не надо.

Он встал, подобрал свою шляпу, с трудом распрямился, держась за поясницу, и я увидел, что лицо у него вымазано чем-то черным — то ли грязью, то ли сажей, смешные очки перекошены, а маленький рот плотно сжат, словно он терпит сильную боль. Он поправил очки и сказал, едва шевеля губами:

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции.

Я молчал. Он слабо похлопал шляпой по колену, словно отряхивая пыль, затем принялся чистить ее рукавом. Он тоже молчал, но не уходил. Я ждал, что он еще скажет.

— Понимаете, — проговорил он наконец, — капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно.

— В нашем веке это тоже случалось, — сказал я. — И не так уж редко.

— Да, конечно, — легко согласился он. — Конечно. Ведь человеку очень неприятно осознать, что он совсем не такой, каким всегда раньше себе казался. Он все хочет остаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь. Вот ему и приходится… И все равно разница есть. В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими — перед обществом, перед друзьями… А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится. Наверное, это так и есть. Не знаю, в чем здесь дело. Не знаю, что произошло… Может быть, потому что мир стал

сложнее? Может быть, потому что теперь, кроме таких понятий, как гордость, честь, существует еще множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения…

Он выжидательно посмотрел на меня, и я пожал плечами и сказал:

— Не знаю. Может быть.

— Я тоже не знаю, — сказал он. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени думаю об этом, только об этом, сколько убедительных доводов перебрал… Вот уж и успокоишься вроде бы, и убедишь себя, и вдруг заноет… Конечно, двадцатый век, девятнадцатый век — разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты о них уже и забыл вовсе, а потом переменится погода, они и заноют. Уж так-то всегда было, во все века.

— Я понимаю, — сказал я. — Я все это понимаю. Но ведь есть раны и раны. Иногда чужие раны больнее…

— Ради бога! — прошептал он. — Я ведь совсем не к тому. Я бы никогда не осмелился. Я просто так говорю. Ни в коем случае не подумайте, что я вас отговариваю, что я вам что-то советую… где уж мне… Вы знаете, я все думаю… вот такие, как мы, — что это такое? То ли мы действительно так

хорошо воспитаны временем, страной, то ли мы, наоборот, — атавизм, троглодиты? Почему мы так мучаемся? Я не могу разобраться.

Я молчал. Он вялым, расслабленным движением нахлобучил свою смешную шляпу и сказал:

— Ну что ж, прощайте, Дмитрий Алексеевич. Мы, наверное, никогда больше с вами не увидимся, но все равно было очень приятно с вами познакомиться. И чай вы отлично умеете заваривать…

Он покивал мне и стал спускаться по лестнице.

— Вы ведь лифт можете вызвать, — сказал я ему в спину.

Он не обернулся и не ответил. Я стоял и слушал, как он шаркает по ступенькам, спускаясь все ниже и ниже, слушал до тех пор, пока глубоко внизу не заскрипела, распахиваясь дверь. Затем дверь бухнула, и снова стало тихо.

Я поправил папку под мышкой, миновал последнюю площадку и, придерживаясь за перила, одолел последний пролет. У дверей Вечеровского я постоял, прислушиваясь. Кто-то там был. Бубнили голоса. Незнакомые. Наверное, надо было бы вернуться и прийти попозже, но у меня не было сил на это. Надо было кончать. И кончать

немедленно.

Я надавил звонок. Голоса продолжали бубнить. Я подождал и снова надавил звонок, и не отпускал кнопки до тех пор, пока не послышались шаги и голос Вечеровского спросил:

— Кто там?

Почему-то я не удивился, хотя Вечеровский сроду открывал дверь всем на свете, ни о чем не спрашивал. Как я. Как все мои знакомые.

— Это я. Открой.

— Подожди, — отозвался он, и на некоторое время наступила тишина.

Теперь уже и голосов не было слышно, только далеко внизу кто-то грохотал люком мусоропровода. Я вспомнил, что Глухов сказал мне — не ходить сюда сейчас. „Не ходите туда, Уормолд. Вас хотят отравить“. Откуда это? Что-то страшно знакомое… Ладно, бог с ним. А идти мне больше некуда. И некогда. За дверью снова послышались шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась.

Я невольно отшатнулся и отступил на шаг. Такого Вечеровского я еще не видел никогда.

— Заходи, — сказал он хрипло и посторонился, давая мне дорогу…»

11

21. «…Ты все-таки принес, — сказал Вечеровский. — Я этого ждал, правда, не так быстро.

— Кто у тебя? — спросил я, понизив голос.

— Никого, — ответил он. — Нас двое. Мы и Вселенная. — Он посмотрел на свои грязные ладони и поморщился. — Извини, я все-таки умоюсь…

Он ушел, а я присел на ручку кресла и огляделся. У комнаты был такой вид, словно здесь взорвался картуз черного пороха. Пятна черной копоти на стенах. Тоненькие ниточки копоти, плавающие в воздухе. И какой-то желтый неприятный налет на потолке. И неприятный химический запах, кислый и едкий. Паркет изуродован обугленными вдавлинами странной округлой формы. И огромная обугленная вдавлина на подоконнике, словно на нем разводили костер. Да, здорово Вечеровскому досталось.

Я посмотрел на стол. Стол был завален. Посередине была раскрыта одна из огромных редакторских папок Вайнгартена, а другая лежала сбоку с завязанными тесемками. И еще лежала старомодная, сильно потертая папка с крышкой

под мрамор, с ярлыком, на котором было напечатано на машинке: „США — ЯПОНИЯ. Культурное воздействие. Материалы“. И были разбросаны листки, изрисованные какими-то, как я понял, электронными схемами, и на одном было написано корявым старушечьим почерком: „Губарь З. З.“, а ниже — печатными буквами: „Феддинги“. А с краю лежала моя новенькая белая папка. Я взял ее и положил себе на колени.

Вода в ванной перестала шуметь, и немного погодя Вечеровский позвал:

— Дима, иди сюда. Кофе будем пить.

Однако, когда я пришел на кухню, никакого кофе там не было, а стояла посередине стола бутылка коньяка и два бокала уникальной формы. Вечеровский успел не только умыться, но и переодеться. Изящный пиджак свой с огромной прожженной дырой под нагрудным карманом и кремовые брюки, измазанные копотью, он сменил на мягкий замшевый домашний костюм. Без галстука. Отмытое лицо его было необычайно бледным, отчего четче обычного проступали многочисленные веснушки, прядь мокрых рыжих волос свисала на огромный шишковатый лоб. И было в его лице еще что-то непривычное, кроме этой бледности. И только приглядевшись,

я понял, что брови и ресницы у него сильно опалены. Да, Вечеровскому досталось основательно.

— Для успокоения нервов, — сказал он, разливая коньяк. — Прозит!

Это был „Ахтамар“, очень редкий в наших широтах армянский коньяк с легендой. Я отпил глоток и просмаковал. Прекрасный коньяк. Я отпил еще глоток.

— Ты не задаешь вопросов, — сказал Вечеровский, глядя на меня сквозь бокал. — Это, наверное, трудно. Или нет?

— Нет, — сказал я. — У меня нет никаких вопросов. Ни к кому. — Я поставил локоть на свою белую папку. — Ответ — есть. Да и то один единственный… Слушай, ведь они тебя убьют.

Привычно задрав опаленные брови, он отпил из бокала.

— Не думаю. Промахнутся.

— В конце концов попадут.

— А ля гер ком а ля гер, — возразил он и поднялся. — Ну вот. Теперь, когда нервы успокоены, мы можем выпить кофе и все обсудить.

Я смотрел ему в сутулую спину, как он, шевеля лопатками, ловко орудует своими кофейными причиндалами.

— Мне нечего обсуждать, — сказал я. — У меня

— Бобка.

И эти мои собственные слова вдруг словно включили во мне что-то. С того момента, как я прочитал телеграмму, все мысли и чувства были у меня как бы анестезированы, а сейчас вдруг разом разморозились, заработали вовсю — вернулся ужас, стыд, отчаяние, ощущение бессилия, и я с невыносимой ясностью осознал, что вот именно с этого мгновения между мною и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непроходимая черта, у которой я остановился на всю жизнь, а Вечеровский пошел дальше, и теперь он пройдет сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев, скроется в ядовито-алом зареве, и мы с ним будем едва здороваться, встретившись случайно на лестнице… А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым — попивать чаек или пивко, или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на „Запорожец“ и тоскливо и скучно корпеть над чем-то там плановым… Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу, неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга и придется покупать водку или портвейн, чтобы скрыть

неловкость, чтобы не так тошнило… Конечно, останется у меня Ирка и Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться. Потому что я буду тем самым папой, который „тоже тогда-то мог сделать большое открытие, но ради тебя…“. Да будь она проклята, та минута, когда всплыли в моей дурной башке эти проклятые М-полости!

Вечеровский поставил передо мной чашечку с кофе, а сам уселся напротив и точным изящным движением опрокинул в свой кофе остаток коньяка из бокала.

— Я собираюсь уехать отсюда, — сказал он. — Из института скорее всего уйду. Заберусь куда-нибудь подальше, на Памир. Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период.

— А что ты понимаешь в метеорологии? — спросил я тупо, а сам подумал: от ЭТОГО ты ни на каком Памире не укроешься, тебя и на Памире отыщут.

— Дурацкое дело — не хитрое, — возразил Вечеровский. — Там никакой особой квалификации не требуется.

— Ну и глупо, — сказал я.

— Что именно? — осведомился Вечеровский.

— Глупая затея, — сказал я. Я не глядел на него. — Кому какая будет польза, если ты из большого математика превратишься в обыкновенного дежурного? Думаешь, они тебя там не найдут? Найдут как миленького!

— А что ты предлагаешь? — спросил Вечеровский.

— Выброси все это в мусоропровод, — тяжело ворочая языком, сказал я. — И Вайнгартеновскую ревертазу, и весь этот „культурный обмен“, и это… — Я толкнул к нему свою папку по гладкой поверхности стола. — Все выброси и занимайся своим делом!

Вечеровский молча смотрел на меня сквозь мощные окуляры, помаргивая опаленными ресницами, затем надвинул на глаза остатки бровей — уставился в свою чашечку.

— Ты же уникальный специалист, — сказал я. — Ты же первый в Европе!

Вечеровский молчал.

— У тебя есть твоя работа! — заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле. — Работай! Работай, черт тебя подери! Зачем тебе понадобилось связываться с ними?

Вечеровский длинно и громко вздохнул, повер-

нулся ко мне боком и уперся спиной и затылком в стену.

— Значит, ты так и не понял… — проговорил он медленно и в голосе его звучало необычайное и совершенно неуместное удовлетворение. — Моя работа… — Он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону рыжим глазом. — За мою работу они меня лупят уже вторую неделю. Вы здесь совсем ни при чем, бедные мои братишки, котики-песики. Все-таки я умею владеть собой, а?

— Провались ты, — сказал я и поднялся, чтобы уйти.

— Сядь! — сказал он строго, и я сел.

— Налей в кофе коньяк, — сказал он, и я налил.

— Пей, — сказал он, и я осушил чашечку, не чувствуя никакого вкуса.

— Пижон, — сказал я. — Есть в тебе что-то от Вайнгартена.

— Есть, — согласился он. — И не только от Вайнгартена. От тебя, от Захара, от Глухова… Больше всего — от Глухова. — Он осторожно налил себе еще кофе. — Больше всего — от Глухова, — повторил он. — Жажда спокойной жизни, жажда безответственности… Станем травой и кустами, станем водой и цветами… Я тебя, вероятно, раздражаю?

— Да, — сказал я.

Он кивнул.

— Это естественно. Но тут ничего не поделаешь. Я хочу все-таки объяснить тебе, что происходит. Ты, кажется, вообразил, что я собираюсь с голыми руками идти против танка. Ничего подобного. Мы имеем дело с законом природы. Воевать против закона природы — глупо. А капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Этим я и собираюсь заняться.

— Не понимаю, — сказал я.

— Мы привыкли, что мироздание предельно неантропоморфно. Что нет ничего менее похожего на человека, чем мироздание. И мы не привыкли, чтобы законы природы проявлялись таким странным образом. Природа умеет бить током, сжигать огнем, заваливать камнями, морить чумой. Мироздание проявляет себя полями и силами, полями сил. Мы не привыкли видеть среди орудий природы рыжих карликов и одурманенных красавиц. Когда появляются рыжие карлики, нам сразу начинает казаться, что действуют уже не силы природы, а некий разум, социум, цивилизация. И мы уже готовы усомниться в том, что

бог природы коварен, но не злонамерен. И нам уже кажется, что скрытые тайны природы — это сокровища в сейфах банка, оборудованного по последнему слову ворозащитной техники, а не глубоко зарытые тихие клады, как мы думали всегда. И все это только потому, что мы никогда прежде не слыхивали о полях, имеющих своим квантом рыжего карлика в похоронном костюме. А такие поля, оказывается, существуют. Это придется принять и понять. Может быть, в том и причина, что мы, какие мы есть… Мы все искали „достаточно безумную теорию“. Мы ее получили… — Он вздохнул и посмотрел на меня. — То, что происходит с нами, похоже на трагедию. Но это ведь не только трагедия, это — открытие. Это возможность взглянуть на мироздание с совершенно новой точки зрения. Постарайся, пожалуйста, понять это.

До нас этот закон не проявлялся никак. Точнее, мы ничего об этом не слыхали. Хотя, может быть, не случайно Ньютон впал в толкование апокалипсиса, а Архимеда зарубил пьяный солдат… Но это, разумеется, домыслы… Беда в том, что этот закон проявляется единственным образом — через невыносимое давление. Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни.

Но тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. В конце концов, это не так уж уникально в истории науки. Примерно то же самое было с изучением радиоактивности, грозовых разрядов, с учением о множественности обитаемых миров… Может быть, со временем, мы научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях… Но сейчас ничего не поделаешь, приходится рисковать — опять же, не в первый и не в последний раз в истории науки. Я хотел бы, чтобы ты это понял: по сути ничего принципиально нового и необычайного в этой ситуации нет.

— Зачем мне это понимать? — спросил я угрюмо.

— Не знаю. Может быть, тебе станет легче. И потом, я еще хотел бы, чтобы ты понял: это не на один день и даже не на один год. Я думаю, даже не на одно столетие. Торопиться некуда. — Он усмехнулся. — Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и нужно уже сейчас. А тебе… ну что ж, тебе придется только подождать. Пока Бобка перестанет быть ребенком. Пока ты привыкнешь к этой идее. Десять лет, двадцать лет — роли не играет.

— Еще как играет, — сказал я, чувствуя на лице

своем отвратительную кривую усмешку. — Через десять лет я стану ни на что не годен. А через двадцать лет мне будет на все наплевать.

Он ничего не сказал, пожал плечами и принялся набивать трубку. Мы молчали. Да, конечно, он хотел мне помочь. Нарисовать какую-то перспективу, доказать, что я не такой уж трус, а он — никакой не герой. Что мы просто два ученых и нам предложена тема, только по объективным обстоятельствам он может сейчас заняться этой темой, а я — нет. Но легче мне не стало. Потому что он уедет на Памир и будет там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми феддингами, со своей заумной математикой и со всем прочим, а в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов и в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов они-таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают. И может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток… А может быть, вообще ничего этого не будет, а будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где, в какой точке пересекаются

выводы из теории М-полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию, и это, наверное, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею… А я останусь дома, встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки.

— Угробят они тебя там, — сказал я безнадежно.

— Не обязательно, — сказал он. — И потом, ведь я там буду не один… и не только там… и не только я…

Мы смотрели друг другу в глаза, и за толстыми стеклами очков его не было ни напряжения, ни натужного бесстрашия, ни пылающего самоотречения — одно только рыжее спокойствие и рыжая уверенность в том, что все должно быть именно так и только так.

И он ничего не говорил больше, но мне казалось, что он говорит. Торопиться некуда, говорит он. До конца света еще миллиард лет, говорит он. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться. И еще мне казалось, что он говорит:

„Он умел бумагу марать под треск свечки! Ему было за что умирать у Черной речки…“ И раздавалось у меня в мозгу его удовлетворенное уханье, словно уханье уэллсовского марсианина.

И я опустил глаза. Я сидел скорчившись, прижимая к животу обеими руками свою белую папку, повторял про себя — в десятый раз, в двадцатый раз повторял про себя: „…с тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы…“»